

выпуск 91

библиотека
психологии
и психотерапии



КЛАСС
независимая
фирма

Thomas Ogden

Reverie and Interpretation

Sensing Something Human

Jason Aronson Inc.
Northvale, New Jersey
London

Томас Орген

Мечтание и интерпретация

Ощущая человеческое

Перевод с английского А.Ф. Ускова

Москва
Независимая фирма «Класс»
2001

УДК 615.851
ББК 53.57
0 48

Огден Т.

0 48 Мечтание и интерпретация: Ощущая человеческое / Перев. с англ. А.Ф. Ускова. М.:

Независимая фирма "Класс", 2001. — 160 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 91).

ISBN 5-86375-035-9

Томас Огден, известный психоаналитик и блестящий автор, в своей книге исследует ткань аналитического переживания, сотканную из нитей жизни и смерти, мечтаний и интерпретаций, приватности и общения, индивидуального и межличностного, поверхностно обыденного и глубоко личного, свободы эксперимента и укорененности в существующих формах и, наконец, любви и красоты образного языка самого по себе и необходимости использования языка как терапевтического средства. Чтобы передать словами переживание жизни, нужно, чтобы сами слова были живыми. Это и есть та основа, которая позволяет психоанализу стать человеческим событием.

Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль
Научный консультант серии Е.Л. Михайлова

ISBN 0-7657-0076-X (USA)

ISBN 5-86375-035-9 (РФ)

- © 1997 Thomas H. Ogden
- © 2001 Независимая фирма "Класс", издание, оформление
- © 2001 А.Ф. Усков, перевод на русский язык, предисловие
- © 2001 Мастерская-таф, дизайн обложки

Исключительное право публикации на русском языке принадлежит издательству "Независимая фирма "Класс". Выпуск произведения или его фрагментов без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.

www.kroll.igisp.ru
Купи книгу "У КРОЛЯ"

ПОЭЗИЯ И ПОЭТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

“Все жанры хороши, кроме скучного”, — не помню, откуда это, но похоже на восклицание чеховской героини (а может быть, самого Чехова). Герой “Скучной истории” говорит о занимательности французских романов — в противоположность его реальной скучной жизни (и русской классической литературе, пародируя которую Набоков придумал роман “Кровь и слюни”). “Скучно жить на этом свете, господа!” — еще одно чеховское восклицание.

Жизнь не всегда весела, но если она скучна, то это уже не жизнь, а ее отсутствие — *deadness*, смерть.

История на протяжении всего XX века не давала скучать жителям России. Однако личное ощущение жизни или, наоборот, скуки, безжизненности, смерти не всегда зависит от обилия внешних событий — даже приятных. Это внутреннее ощущение. Недаром психоанализ появился на рубеже веков как ответ на экзистенциальный вызов скуке, безжизненности и закрытости от понимающего и любящего другого, характерных для внутреннего мира многих образованных (и необразованных) людей.

Томас Огден пытается сделать эту роль и задачу (сверхзадачу) психоанализа эксплицитной. “Любой анализ хорош, кроме скучного” — вот его девиз. Огден сравнивает язык анализа с языком литературы. Хороший анализ, как и хорошая литература, должен быть интересным. И этот интерес Огден рассматривает как языковой эффект, как талантливое творчество, которое исходит из искреннего переживания. Поэтому в книге Огдена появляется неожиданная глава о поэзии Роберта Фроста, поэтому он рассказывает об упражнениях чувств языка, которые выполнял, будучи студентом колледжа.

Психоанализ — это тоже поэзия, и у него должна быть своя поэтика. Пусть Огден, на мой взгляд, не всегда справляется со своей сверхзадачей и пишет достаточно скучно — главное, что он ставит эту проблему. Подлинное и неподлинное, жизнь или *deadness* — смерть, психоанализ или его имитация — различить это может только чуткое ухо (и сердце).

Как известно, Фрейд получил премию Гете как оценку своего литературного дара. Хорошая психоаналитическая литература подчас становится просто (а это непросто!) завораживающей прозой, а иногда и поэзией. Графоманство в психоанализе встречается так же часто, как и в литературе, и в жизни — как имитация жизни.

В литературе есть грань, переходя которую, ты вдруг оказываешься в области графоманства. Каждый видит ее по-своему. Для меня такими знаменитыми графоманами являются Томас Манн, а из современных — Милорад Павич. Сам Огден, похоже, балансирует на этой грани — edge (“The Primitive edge of experience” — название одной из его книг). Тем не менее это блестящий автор, пытающийся переосмыслить самую суть психоанализа, и чрезвычайно популярный психоаналитик. Ему принадлежит исследование аутистически-прилегающей (autistic-contiguous) позиции и соотношения трех основных позиций — аутистически-прилегающей, параноидно-шизоидной и депрессивной (та самая “The Primitive edge of experience”). Он развивает чрезвычайно интересную идею о субъектах анализа и об аналитическом третьем. Он научился великолепно использовать свои мечтания — reveries — в повседневной практике психоанализа.

Можно только мечтать о том, что когда-нибудь вся психоаналитическая литература, литература вообще и жизнь вообще — станут интересными. Очень чеховская мечта. Это значит, что психоанализ как личное приключение и как ответ на вызов времени окажется плодотворным — “fruitful”...

Но Чехов был серьезным писателем. А Огден — серьезный аналитик. Литература — психоанализ, жизнь — не может быть скучной, в смысле серьезной. Чтение Огдена потребует большого труда и, возможно, не даст того немедленного удовлетворения, которое в литературе называется “happy end”.

Александр Усков

Памяти Джейн Хьюитт, жизнь и любовь которой были столь неистовы и столь нежны, что мне уже никогда не встретить подобных.

Глава первая

ОБ ИСКУССТВЕ ПСИХОАНАЛИЗА

Словам и предложениям, как и людям, должна быть предоставлена определенная свобода. Это не значит, что слова и предложения (и человеческие существа) могут в зависимости от нашего желания означать все что угодно (или чем угодно быть). Скорее, я хочу привлечь внимание к сковывающему эффекту, который на наше воображение оказывает стремление определить и в деталях уточнить, что именно мы имеем в виду (или кто мы суть). Воображение зависит от игры возможностей. В этой книге слова и предложения в лучшем случае только приблизительно “пристегнуты к странице” (Frost 1929, p. 713). Я буду использовать слова вроде “жизнь” (aliveness) и “смерть” (deadness), “человеческий” и “перверсный”, “искренний” и “неподлинный/неистинный”, не определяя их никак, за исключением — и это существенное исключение — того, как они используются в контексте самих предложений. Я буду в разных местах использовать слова “пустой”, “застывший”, “спертый” и “мертворожденный”, говоря об эмоциональном омертвлении. Да и вообще, не является ли оксюмороном сама идея *переживания* эмоционального омертвления?” Я прошу читателя предоставить мне (и самому себе) пространство, в котором ощущение пустоты может соскальзывать в чувство омертвления, а затем в омертвление чувств, а затем назад, в переживание пустоты, прихватывая по пути оттенки значений. Важно, чтобы значение слов изменялось в зависимости от каждого нового эмоционального контекста, в котором они произносятся, пишутся или читаются, и одновременно воздействовало на этот контекст.

Мне все больше кажется, что ощущение жизни (aliveness) или смерти (deadness) в каждый данный момент аналитического часа является главным показателем (gauge) аналитического процесса. Возможность средствами языка уловить/передать ощущение тонкого взаимодействия жизни и смерти в пере-

живаниях человека на аналитических сеансах является главной задачей современного психоанализа и будет основным объектом внимания в этой книге. Этот аспект аналитического опыта не будет выходить на передний план в каждой главе, но я надеюсь, что подспудно он будет ощущаться практически в каждом предложении.

Чтобы передать словами нечто, касающееся переживания жизни, нужно, чтобы сами слова были живыми. Когда слова живут и дышат, они похожи на музыкальные струны. Полный резонанс струны или фразы надо услышать во всей его предполагаемой неточности. Используя язык в создании теорий и в аналитической практике, мы должны стремиться быть скорее творцами музыки, нежели исполнять по нотам. Единственная возможность достичь этого — принять, что слово или фраза не являются застывшей точкой, что они в каждое следующее мгновение звучат иначе и означают иное, чем за миг до этого. Когда пациент просит меня повторить то, что я только что сказал, я отвечаю, что фактически не могу этого сделать, потому что тот момент уже прошел. И добавляю, что и он и я можем попытаться высказать нечто, что будет иметь своей отправной точкой его чувства по поводу того, что только что произошло.

Слова и предложения, как и люди, вечно находятся в движении. Попытка зафиксировать значение слов и предложений превращает их в безжизненные конструкции, неподвижные застывшие клетки, распластанные на лабораторных стеклышках и лишь отдаленно напоминающие живые ткани, из которых они извлечены. Когда язык аналитика или анализируемого застывает, он больше не годится для передачи живых человеческих переживаний. То, что я хочу сказать об использовании языка в аналитическом диалоге, хорошо выразил А.Р. Аммонс (Ammons, 1968), сравнивший живой язык поэзии с прогулкой: “Прогулка подразумевает человека в целом; она неповторима; ее траектория возникает и разворачивается; ее движение характеризует гуляющего”.

Что значит оживить человека, чувство или мысль в тексте — можно понять только через *опыт переживаний читателя при чтении или слушании слов и фраз, высказанных (написанных) автором*. Это трудная задача для литературы вообще и для аналитической литературы в частности, поскольку и та и другая в основе своей решают задачу использования языка, для того чтобы уловить нечто в человеческих переживаниях. Если мы, как читатели, не можем ощутить, пережить, хотя бы отдаленно, нечто человеческое в процессе чтения аналитической статьи, поэмы, эссе или романа, то мы уходим с пустыми руками. Работа аналитика, пишущего статью или книгу, как и работа писателя, создающего стихи или прозу, начинается и заканчивается его усилием создать в языке переживание человеческой жизни. Работа аналитика, пишущего статью или книгу, как и работа писателя, создающего стихи или прозу, начинается и заканчивается его усилием создать в языке переживание человеческой жизни.

Если пишущий аналитик занят тем, что говорит “о” жизни и смерти (это “вялое слово “о”” [Wm. James 1890]), его усилия будут напрасны. Такая книга, если она хочет достичь своей цели — уловить что-то в переживаниях человека в аналитической ситуации — должна все время стараться быть экспериментом, в котором писатель в акте написания и читатель в акте чтения *переживают* ощущение жизни, существующее в данном языке. Книга будет иметь ценность в описываемом мной смысле лишь настолько, насколько читатель снова и снова будет переживать *ощущение* жизни собственно в процессе чтения предложений или, как любил называть это Роберт Фрост (Frost 1962), “говоря строчки”.

Читатель должен проделать как минимум половину работы по извлечению из языка этой книги ощущения того, что значит быть живым. “Процесс чтения — это не полусонное состояние, но — в высшем смысле — упражнение, усилие гимнаста ... Читатель должен сделать нечто для себя, должен быть настороже, должен сам обучить все эти поэмы, споры, истории, метафизические эссе — тексты, оснастив их намеками, ключами, звуками их внутренней ткани” (Whitman 1871). Черные и белые формы на странице, а также белые пространства, окружающие эти значки, сами по себе инертны. Читатель должен что-то сделать с ними. Он должен активно, даже страстно вступить в отношения со словами, используя себя для создания чего-то своего человеческого, своего собственного. В конце концов, какие еще слова, кроме собственных, годятся для создания человеческого переживания?

Одно из наиболее пронизательных замечаний по поводу того, что значит для анализа “быть живым”, исходит (как ни странно) не от аналитика, а от романиста и эссеиста, говорившего в 1884 г. об искусстве вымысла:

“Для здоровья искусства, делающего попытку воспроизвести жизнь, требуется, чтобы оно было совершенно свободным. Оно живет попытками (exercise), а сама суть попыток — это свобода. Единственное обязательство, которому мы заранее можем подчинить роман, без риска быть обвиненными в произволе, — это обязательство быть интересным”.

(Henry James, 1884)

Утверждение Джеймса о романе (и, имплицитно, о взаимоотношениях писателя и читателя) во многом относится и к искусству психоанализа и к пониманию взаимоотношений аналитика и анализируемого. Идея о том, что любой анализ должен быть прежде всего интересным, является для меня как самоочевидной, так и революционной концепцией (ср. Phillips, 1996). Чтобы быть интересным, анализ должен быть свободным в своих “попытках” определять свой

облик и принимать тот облик, который участники могут для него изобрести. Свобода “попыток” — это свобода эксперимента: “Искусство живет обсуждением, экспериментом, любопытством, разнообразием проб, обменом взглядов и сравнением точек зрения” (Н. James, 1884). Живой анализ временами неосознанно протекает как эксперимент, покидая хорошо исследованные воды предписанных форм; это беседа, питаемая любопытством и многообразием попыток; это предприятие, зависящее от искреннего обмена мнениями и сравнения точек зрения. Анализ, превратившийся в рутинную форму, в котором от аналитика анализируемому передается “знание” — неинтересен; это уже более не эксперимент, поскольку ответы, хотя бы и в общем виде, известны с самого начала. Форма романа и форма анализа и не должны быть заранее предписанными. Это означало бы для нас заранее отказываться от эксперимента:

“Форма, как мне кажется, должна стоять на втором месте после факта: затем должен делаться авторский выбор... Затем мы должны следовать направлениям и указаниям... Исполнение целиком остается за автором; это то, что является у него наиболее личным, и мы оцениваем его за это. Преимущество, роскошь, а также ответственность романиста состоят в его исполнительской свободе пробовать — нет предела его возможным экспериментам, усилиям, открытиям, успехам”.

(Н. James, 1884)

Как и в случае с романом, форма анализа может быть оценена только впоследствии. Например, аналитик не планирует играть роль в *перверсной сцене* в аналитических отношениях. “Сюжет” или форма перверсного сценария является отражением внутреннего объектного мира анализируемого и выражается в форме бессознательных межсубъектных отношений аналитика и анализируемого. Понимание значения формы почти всегда является ретроспективным, и эта форма, конечно же, очень личная для ее авторов. Как аналитики и как анализируемые мы очень требовательны к себе, стремимся не полагаться на “заранее предписанные” формы, стараемся быть открытыми для эксперимента: “Нет пределов [в смысле границ интенсивности и сложности чувств и мыслей] в том, что он [аналитик или анализируемый] может испробовать”. Более того, мы требуем от себя быть бессознательно доступными субъектами в бессознательных экспериментах другого. Мы как аналитики пытаемся сделать себя бессознательно восприимчивыми к использованию нас для разыгрывания разнообразных ролей в бессознательной жизни анализируемого. Бессознательная восприимчивость такого рода (состояние “мечтания”, по Биону) включает в себя (частичную) передачу собственной отдельной индивидуальности третьему субъекту, субъекту, который не является ни аналитиком, ни анализируемым, но третьей субъективностью, бессознательно генерируемой аналитичес-

кой парой (Ogden 1994a). Полноценно предоставлять себя не так просто — это эмоционально опустошающее предприятие, в котором и аналитик и анализируемый в определенной степени “теряют свою душу (mind)” (свою способность думать и переживать опыт в качестве отдельного индивида).

Только в процессе завершения анализа аналитик и анализируемый “возвращают” свои отдельные души, но эти вновь обретенные души не являются теми же самыми душами, которыми эти индивиды обладали, вступая в аналитический опыт. Тех индивидов больше не существует. Аналитик и анализируемый, которые “восстановились” как отдельные индивиды, сами являются в значительной мере новыми психологическими единицами, созданными/измененными своим опытом участия в третьем аналитическом субъекте (“субъекте анализа”).

Переживание анализируемым смерти аналитика перед планируемым окончанием плодотворного анализа* представляет собой не только переживание огромной личной потери, но, что не менее важно, переживание, похожее на помешательство. Смерть аналитика закрывает для анализируемого возможность полностью освободить свою душу (душу, которая не являлась его исключительной личной собственностью в течение определенного времени). Аспект души, который был (частично) “утрачен”, — это та часть души, которая возникла и развивалась в межличностном контакте. Это часть души, которая приобреталась анализируемым постепенно в ходе непрерывного аналитического опыта. Смерть аналитика представляет собой грубое разрушение “места, где живет [анализируемый] (Winnicott, 1971a). (Невозможная) ответственность аналитика за то, чтобы остаться живым на протяжении всего анализа, очень тяжела и составляет одну из профессиональных трудностей, которая, на мой взгляд, недостаточно осознается. Мы недооцениваем давление, создаваемое знанием аналитика (в основном бессознательным), что он (как почти любой родитель) имплицитно обещает то, что, по-видимому, не может гарантировать — оставаться живым достаточно долго для того, чтобы анализируемый (или ребенок) выделил/создал собственную душу, способную создавать отдельное место для жизни вне совместного психологического пространства, в котором он вырос, хотя и никогда полностью не отделенное от него.

Психоанализ — это искусство, требующее не только работы по созданию места, где могут жить аналитик и анализируемый, но также развития и использования языка, способного дать голос нашему ощущению жизни в этом месте, где бы оно ни оказывалось. Мы ждем от себя (и от своих анализируемых) попыток говорить собственным голосом и собственными словами, поскольку это

*Идею “плодотворного” анализа необходимо дифференцировать от иллюзорной концепции “завершенного” анализа, который приходит к успешному завершению после успешного “разрешения” трансферентных конфликтов и искажений.

та основа, которая позволяет анализу быть человеческим событием. “Исполнение целиком остается за автором; это наиболее личное для него...” Парадоксально, но аналитику требуется много тренировки и опыта, чтобы его речь звучала и ощущалась спонтанно, незаученно, неусвоенно, чтобы она не была продиктована аналитическими условностями и предписаниями. И это не просто вопрос взросления аналитика с течением времени, лучшего знакомства с ролью аналитика и более комфортного ощущения себя в ней. Аналитик на каждой стадии своей карьеры может начать заменять звук собственного голоса и собственный выбор слов на застывшие формулировки “общепринятой” техники, определяемые принадлежностью к той или иной аналитической школе, а также сознательно или бессознательно имитировать своего аналитика (аналитиков), супервизора(ов) или других аналитиков, вызывающих у него в данный момент уважение, восхищение или идентификацию.

Самым большим достижением для аналитика является развитие способности “просто говорить” с анализируемым. Идея “просто говорения” может рассматриваться как аналог данной Фрейдом инструкции “просто слушать” (Freud, 1912). Так, часто терапевты и аналитики говорят “терапевтическим голосом” (спародированным с обескураживающей точностью в фильмах “Анни Холл” и “Секс, ложь и видео”). Такие застывшие терапевтические интонации не услышишь ни в одной из других форм человеческого разговора.

Чтобы научиться разговаривать с пациентами собственным голосом и собственными словами, необходимо сначала научиться слышать и использовать “живые звуки речи” (Frost, 1915): “жизненно необходимой вещью для любых сочинений в прозе и стихах... является ДЕЙСТВИЕ голоса... Впустите мелочи жизни в технику своего письма. Это единственное средство избежать сухой риторики”. И для аналитика это также единственный способ избежать сухой терапевтической “риторики” или мертвого языка. Речь аналитика должна быть творчеством человека, который живет в данный момент. Живая человеческая речь с таким же трудом возникает при использовании аналитиком разговорного языка, как и при создании писателем прозы или стихов.

Несколькими годами позже Фрост (Frost, 1929) развил идею “живых звуков речи”:

“Все написанное хорошо настолько, насколько оно драматично*... Драматическая необходимость глубоко проникает в природу предложения. Драматическая необходимость проникает глубоко в при-

* Слово “dramatic” обладает в английском языке огромным спектром значений и в целом отлится от значения русского слова “драматично”. Прежде всего, современное значение этого слова — наглядный, вычурный, отчетливый, впечатляющий, поражающий воображение. — Прим. ред.

роду предложения. Только будучи драматичными, предложения отличаются друг от друга настолько, чтобы удерживать наше внимание. Не поможет этому и натужное варьирование их структуры. Единственное, что может спасти их, — это тон голоса, пойманный в словах... для слуха нашего воображения” [р. 713]

В этом абзаце употребляемое Фростом слово “драматично” драматично само по себе. Оно неожиданно и хорошо передает то, что Фрост называет “выбивающим” (*fetching*) (1918, р. 694) использованием повседневных слов, каким-то образом превращающихся в заново созданные слова (слово “выбивается” со своего обычного места). Слово “драматично” является здесь заново созданным, поскольку больше не означает сценичное, истеричное, шокирующее, единое, блестящее, театральное и т.д. Оно скорее подчеркивает, что это язык личный, уникальный для говорящего, для ситуации, в которой это говорится, и для человека, которому это говорят. В результате “драматическая” речь (как раз противоположная сценической) — это очень откровенное (*revealing*) и интимное использование языка в том смысле, что один человек предлагает и доверяет другому что-то сделанное *для него*, чтобы тот пользовался этим так, как хочет. Это рискованное употребление языка, поскольку оно хочет получить что-то от слушателя, делая для него что-то. Будучи живым и присутствуя в своем языке, “говоря тоном голоса, пойманным в словах”, говорящий просит признания у “слуха нашего [слушателя] воображения”.

Если попытки человека говорить “драматично” (интимно и лично) остаются неуслышанными и не используются — это совсем не пустяк ни для аналитика, ни для анализируемого. Если слова аналитика остаются неуслышанными — это изолирующее, фрустрирующее и разочаровывающее событие. Если слова анализируемого (и та его часть, которая стремится выразиться в словах и тоне голоса) остаются не услышанными аналитиком, это гораздо более серьезное событие: это отражение того факта, что аналитик в данный момент уже не способен предоставить “слух своего воображения”, живое человеческое присутствие, быть рядом и воспринимать то, что ему говорится. За этим обязательно последует самозащитное отстранение анализируемого (например, в форме действия или в форме отреагирования, соматизации, перехода к маниакальным, параноидным и аутистическим защитам и т.д.). Такова природа человеческого разговора: подобная оплошность со стороны аналитика болезненна, но не трагична. Это часть ритма аналитической беседы и всех других форм человеческих разговоров. Однако если этот паттерн возникает часто и не исследуется в аналитической ситуации, то появляется нечто гораздо более разрушительное для анализа. Если аналитик не способен анализировать свои бессознательные мысли, чувства и ощущения (часто выражающиеся в задумчивом мечтательном переживании), которые мешают ему слушать свободно и с во-

ображением, то между аналитиком и анализируемым вырастает пропасть. И подлинная аналитическая работа останавливается до тех пор, пока эта ситуация не будет признана и вовлечена в саморефлективную работу анализа, путем ли исследования контрпереноса*, или же если пациент сумеет привлечь к этому внимание аналитика. Такие тупики часто требуют от аналитика получения консультации (супервизии) и дальнейшего личного анализа.

В следующих главах будет обсуждаться то, что фундаментально аналитическая задача состоит в стремлении аналитической пары помочь анализируемому быть человеком в более полном смысле, чем он был способен ранее. Это не абстрактный философский запрос; это потребность нашего рода человеческого, такая же фундаментальная, как потребность в пище и воздухе. Стремление стать человеком является одной из немногих вещей в жизни, которые временами могут быть для человека более важными, чем личное выживание.

И вновь я обращаюсь к словам поэта и драматурга, чтобы выразить разницу между выживанием индивида и *переживанием* ощущения жизни. "*Фауст*" Гете (1808), на мой взгляд, является одним из самых великих литературных произведений, выражающих борьбу человека за то, чтобы ощущать свое человеческое бытие. Сложность "*Фауста*" теряется, если главный герой рассматривается как человек, "заключивший сделку с дьяволом", в которой он продает свою душу за неограниченный доступ к жизненным удовольствиям (многие из которых — это "запретные" чувственные удовольствия). Первые сцены первой части "*Фауста*" представляют, по моему мнению, гораздо более интересные и сложные характер и дилемму. Мы знакомимся с Фаустом, когда он находится в состоянии глубокого отчаяния:

Я богословьем овладел,
 Над философией корпел,
 Юриспруденцию долбил
 И медицину изучил.
 Однако я при этом всем
 Был и остался дураком...
 Не нажил чести и добра
 И не вкусил, чем жизнь остра.
 И пес с такой бы жизни взвыл!**

Читателю/зрителю требуется некоторое время, чтобы понять источники его отчаяния. Фауст чувствует, что учился напрасно и пришел к признанию того,

*Чувство языка подсказывает мне, что слово "противоперенос" звучит по-русски удачнее, чем более привычное "контрперенос". В этом переводе я буду использовать его так же, как и прилагательные "переносный" и "противопереносный" вместо "трансферентный" и "контртрансферентный". — *Примеч. переводчика.*

**Здесь и далее перевод Б.Л. Пастернака.

что Бог бесполезен для него — не потому, что он хочет стать больше чем человеком и получить доступ к удовольствиям, недоступным для смертных. Как раз наоборот: Фауст хочет именно быть смертным (в чем, собственно, как он чувствует, Бог ему и отказывает). Мефистофель не может понять этого и предлагает ему нескончаемые земные прелести (“Я буду исполнять любую блажь”), но Фауста не меньше интересует возможность “охватить то, что похоже на [его] ускользающую мечту”. Фауст жаждет не привилегированного положения вне человеческих переживаний и времени, но, скорее, ищет себе места в них:

Отныне с головой нырну
В страстей клокочучих горнило.
Со всей безудержностью пыла
В пучину их, на глубину!
В горячку времени стремглав!
В разгар случайностей с разбегу!
В живую боль, в живую негу,
В вихрь огорчений и забав!
Пусть чередуются весь век
Счастливей рок и рок несчастный.
В неумоимости всечасной
Себя находит человек.

Фауст чувствует, что он не переживал того, что значит быть человеком (“всем человечеством”) и использует слова “их” и “они”, потому что это отражает занимаемую им позицию — вне людей.

Так очерченная Гете дилемма Фауста фокусирует, на мой взгляд, основную терапевтическую задачу психоанализа — попытку создать условия для особого типа общения, в котором анализируемый и аналитик пытаются повысить свою способность участвовать в “событиях и переживаниях”, в полной мере переживать “радости и горести, выси и бездны” человеческих эмоций.

Хотя способность быть человеком в этом смысле слова воспринимается Фаустом как присущая “всему человечеству”, но в этих первых сценах он еще не понимает (или, точнее, не может вынести мысли), что *неспособность* быть полностью человеком также присуща “всему человечеству”. Все человечество в различной степени исключено из “событий и переживаний”, и в состоянии отчаяния и фрустрации, которые мы разделяем с Фаустом в наших усилиях полнее быть людьми, мы заключаем наши собственные безмолвные (в основном бессознательные) “сделки” с самими собой. Эти сделки (которые в технических терминах можно назвать “патологическими решениями”) заключаются не для того, чтобы быть сверхчеловеком (что значит быть не-человеком), но для того чтобы полнее быть человеком. Однако в бессознательном заключении

этих сделок с собой мы, несомненно, глубже опускаемся в нечеловеческое, т.е. в формы, заменяющие жизнь, которые поверхностно выглядят человеческими, но в конце концов оказываются нечеловеческими и неживыми. Например, как это будет обсуждаться в главе 3, перверсный индивид, пытаясь стать живым с помощью компульсивно однообразных форм сексуального возбуждения, обнаруживает, что, стремясь стать более живым, он вместо этого заключает себя в тюрьму внутреннего и внешнего объектных миров, являющуюся неизменной имитацией живого человеческого переживания (а часто — горькой пародией на него).

Перверсные индивиды не единственные, кто вступает в бессознательную сделку с самими собой. Бессознательные сделки, которые мы все заключаем с собой — это те психологические события, когда мы покупаем безопасность ценой свободы и надежность ценой жизненности. Конечно, безопасность и надежность, которые мы получаем для себя, являются иллюзорными, но мы очень полагаемся на свои иллюзии. Я думаю, например, мы неспособны по-настоящему осознавать собственную смертность, сохраняя при этом психическое здоровье. Несмотря на огромные усилия, которые мы затрачиваем, чтобы это осознать, мы невольно в последний момент отводим взгляд. И вот так, быстро отвернувшись, мы (в фантазии) становимся бессмертными и всемогущими, и ровно настолько же делаемся менее живыми в невыносимой интенсивности и сиюминутности текущего мгновения.

С этой точки зрения любая форма психопатологии, насколько бы выраженной или незаметной (и присущей всем) она ни была, может пониматься как форма проявления бессознательного ограничения человеком собственной способности переживать свою жизнь как человеческую. Ограничение индивидуальной способности быть живым может проявляться во множестве форм, включая ограничение спектра и глубины чувств, мыслей и телесных ощущений, ограничение жизни в сновидениях и жизни в мечтаниях, чувство нереальности в отношениях к самому себе и другим людям или компромисс с собственной способностью играть, воображать и использовать вербальные и невербальные символы для создания/репрезентации собственного опыта. Мы не только принимаем эти и другие ограничения нашей способности быть живыми, но и хватаемся за них, когда перспектива быть полнее живым человеком подразумевает такие формы психической боли, которые (как нам кажется) мы не можем вынести. Хватаясь за эти формы психологической смерти, мы приносим в жертву часть себя для выживания целого, но обнаруживаем, что “целое” лишилось в этом процессе доброй доли своей витальности.

Пытаясь найти слова, чтобы описать наши отношения с самими собой в своих попытках избежать таких бессознательных “сделок”, я вспоминаю жесткую, сжатую, полную черного юмора Фолкнеровскую характеристику Кадди, глав-

ной героини его романа “Шум и ярость”: “Обречена и знала это”. (Кадди даже не удостоилась местоимения в этом припечатывающем приговоре, выцеженном четырьмя односложными словами*.) Мы, аналитики, иногда смутно осознаем, насколько мы “обречены” (или, по крайней мере, неудачливы) в своих стремлениях быть полнее людьми и в усилиях помочь анализируемому в его попытках добиться этого. Тем не менее, именно в этих усилиях быть полнее людьми мы живем как аналитики и анализируемые; в этих экспериментах живо искусство психоанализа.

В следующих главах я буду исследовать ткань аналитического переживания, сотканую из нитей жизни и смерти, мечтаний и интерпретаций, приватности и общения, индивидуальности и интерсубъективности, поверхностно обыденного и глубоко личного, свободы эксперимента и укорененности в существующих формах и, наконец, любви и красоты образного языка самого по себе и необходимости использования языка как терапевтического средства.

*По-английски в выражении “Doomed and knew it” все слова произносятся односложно. — *Прим. ред.*

Глава вторая

АНАЛИЗ ФОРМ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Еще попытка. Думаю, и третий
Останется всего лишь порождением
Сознания, конструкцией из слов,
А головокружительного тигра,
Вне мифов рыщущего по земле,
Мне не достигнуть. Может быть. Но что-то
Толкает снова к странному занятию
Без смысла и начала, и опять
По вечерам ищу другого тигра,
Недосягаемого для стиха.

Х.Л. Борхес. *“Другой тигр”**

В течение последних нескольких лет я стал все больше осознавать, что ощущение жизни и смерти в противопереносе является для меня, возможно, единственным наиболее важным критерием состояния аналитического процесса в данный момент. В ходе четырех клинических обсуждений я буду исследовать идею о том, что существенным элементом аналитической техники является способность аналитика использовать свои переживания в протовопереносе, для того чтобы обратиться к специфическим и защитным значениям ощущений жизни и смерти анализа, так же как и к особой функции этих качеств переживаний в картине внутреннего объектного мира пациента и его объектных отношений. С этой точки зрения для аналитика и анализируемого центральной

* Перевод Б. Дубина.

проблемой становится ответ на следующие вопросы. Когда последний раз оба участника чувствовали, что анализ жив? Есть ли в нем замаскированная витальность, которую не могут признать аналитик и/или анализируемый из страха перед последствиями такого признания? Какие замещающие образования маскируют безжизненность анализа, например, маниакальное возбуждение, перверсное удовольствие, истерические отыгрышания, паразитическая зависимость от внутренней жизни аналитика, и т.д.?

Идеи, которые я собираюсь представить, во многом основаны на концепции “места, где мы живем” (третьей области опыта между реальностью и фантазией), сформулированной Винникоттом (Winnicott, 1971a), и проблемах по созданию такого “места” (интерсубъективного царства души) в анализе. Я опираюсь и на указание Биона (Bion, 1959) о том, что аналитик/мать остается живой и в каком-то смысле дает жизнь спроецированным аспектам Я анализируемого/младенца посредством успешного контейнирования проективных идентификаций. Дискуссии Саймингтона (Symington, 1983) и Колтарта (Coltart, 1986) о свободе аналитика думать представляют собой важные приложения работ Биона и Винникотта к технике анализа. Грин (Green, 1983) внес важный вклад в аналитическое понимание переживания смерти как ранней интернализации бессознательного состояния депрессивной матери.

В последние годы во многих публикациях подчеркивается, насколько важно, чтобы аналитик был “реальным”, т.е. был способен спонтанно и свободно реагировать на анализируемого, исходя из своего собственного переживания аналитической ситуации, не будучи при этом “удушенным” карикатурной аналитической нейтральностью (см., напр., Bollas, 1987; Casement, 1985; Mears, 1993; Mitchell, 1993; Stewart, 1977). Моя собственная техника редко включает прямое обсуждение противопереноса с пациентами. Вместо этого противоперенос* имплицитно представлен в том, как я веду себя как аналитик, например, поддерживая аналитические рамки, в тоне моего голоса, словах и содержании интерпретаций и других интервенций; кроме того, он представлен в акценте, который делается на символизации, в противоположность снимающим напряжение действиям и т.д.

Я попытаюсь высказать свои соображения о технических проблемах, возникающих при обнаружении символизации и интерпретации ощущения жизни и смерти в аналитическом переживании. Я считаю, что всякая форма психопато-

*Я употребляю термин *противоперенос* по отношению к переживаниям аналитика в переносе-противопереносе и его вкладу в него. Термин перенос-противоперенос относится к бессознательной интерсубъективной конструкции, создаваемой аналитической парой. Я не считаю перенос и противоперенос отдельными сущностями, возникающими в ответ друг на друга. Эти термины, с моей точки зрения, скорее относятся к аспектам единой интерсубъективной тотальности, переживаемой отдельно (и индивидуально) аналитиком и анализируемым.

логии ограничивает способности индивида к тому, чтобы быть полностью живым человеческим существом. С этой точки зрения задача анализа выходит за рамки просто разрешения бессознательного интрапсихического конфликта, снятия симптомов, улучшения рефлексивной субъективности и понимания себя и усиления ощущения личной активности (*agency*). Хотя ощущение жизни тесно связано с каждой из упомянутых способностей, я считаю, что переживание жизни является чем-то большим, чем эти способности, и должно рассматриваться в качестве аспекта аналитического опыта *само по себе*.

Эта глава имеет клиническую направленность. Я не буду пытаться психологически определять, что такое жизнь и смерть, или описывать, как мы определяем, обладает ли каждое данное переживание качествами жизни и смерти и в какой степени. Не могу сказать, что эти вопросы не важны. Скорее, наилучшим способом ответа на них я считаю обсуждение клинических ситуаций, где эти качества переживаний рассматриваются как центральные, и надеюсь, что сами описания передадут ощущение того, как жизнь и смерть сознательно и бессознательно переживаются аналитиком и анализируемым. В четырех клинических обсуждениях форм психологической жизни и смерти особое внимание будет уделено способам использования противоположных переживаний в процессе создания аналитического значения, т.е. в процессе обнаружения, символизации, понимания и интерпретации ведущей переносной-противопереносной тревоги.

I

В первой клинической дискуссии я представлю фрагменты анализа, в котором чувство смерти у пациентки с самого начала не могло быть символизировано и отыгрывалось (хоронилось) в безжизненности самого аналитического опыта. Это обсуждение будет сосредоточено на использовании контрпереноса для генерации вербальных символов, которые в конце будут предложены пациентке в форме интерпретаций.

Г-жа N, очень успешная общественная деятельница, обратилась к аналитику, потому что испытывала интенсивную, но диффузную тревогу. Она чувствовала, что в ее жизни что-то не так, но не знала, что именно. На первых встречах пациентка, по-видимому, не осознавала своих чувств пустоты, бессмысленности или застоя. Она

чувствовала, что не может найти слов, что было для нее очень нехарактерно.

Первые полтора года анализа во многих отношениях выглядели как удовлетворительное начало. Пациентка стала яснее видеть специфические способы, которыми она удерживает людей (включая меня) на большой психологической дистанции. Ее тревога несколько ослабела, что нашло выражение в ее менее ригидной позе на кушетке. (Почти целый год г-жа N лежала на кушетке совершенно неподвижно, положив руки на живот. В конце сеанса пациентка вскакивала с кушетки и быстро покидала комнату, не глядя на меня.) Ее речь сначала тоже была “зажата”, она часто говорила подчеркнуто книжным языком. В течение первого года работы речь стала более естественной. Однако все это время пациентка испытывала глубокие сомнения, имеет ли анализ “какую-либо реальную ценность” для нее. Г-жа N чувствовала, что по-прежнему не понимает ни источника своей тревоги, ни источников ощущения, что в ее жизни не все в порядке.

В начале второго года работы я постепенно начал осознавать, что пациентка заполняет сеансы внешне интроспективным разговором, он не развивается в элементы, из которых можно было бы вывести дальнейшее понимание или интерпретацию. На сеансах возник шаблон, по которому г-жа N описывала события своей жизни с точностью до минуты. Было совершенно неясно, что является целью этих длинных описаний. Временами я говорил пациентке, что она, наверное, очень тревожится о том, что я узнаю о ней слишком много, если она поможет мне понять значение того, что она только что сказала.

Я заметил, что испытываю все меньше любопытства по отношению к этой пациентке, и его отсутствие оказывает на меня разрушительное воздействие. Я ощущал это так, как будто не могу использовать свой ум. Во время сеансов я испытывал что-то вроде клаустрофобии и временами защищался от этой тревоги, считая минуты, оставшиеся до окончания часа. Иногда я фантазировал о том, что преждевременно окончу сеанс, сказав пациентке, что я заболел и должен сейчас прерваться. Иногда я “убивал время”, подсчитывая частоту своего пульса. Вначале я не осознавал странности своих подсчетов пульса, хотя никогда не делал ничего подобного при работе с другими пациентами. Когда у меня возникли мысли, чувства и ощущения, связанные с этим занятием, они не воспринимались мной как “аналити-

ческие данные". Я воспринимал их как почти незаметные, личные фоновые переживания.

В течение нескольких последующих недель я постепенно стал относиться к измерению пульса (а также к связанным к ним чувствам и ощущениям) как к "аналитическим объектам" (Bion, 1962a; Gveen, 1975; Ogden, 1994a,d), т.е. как к отражению бессознательных конструкций, вырабатываемых пациенткой и мной, или, точнее, вырабатываемых "интерсубъективным аналитическим третьим". Я уже обсуждал свою концепцию "интерсубъективного аналитического третьего" (как "аналитического третьего") в недавней серии публикаций (Ogden, 1992a,b; 1994a,b,c,d). Если кратко суммировать идеи, представленные в этих публикациях, то я рассматриваю интерсубъективного аналитического третьего как третьего субъекта, создаваемого бессознательным взаимодействием аналитика и анализируемого. В то же время аналитик и анализируемый порождаются как аналитик и анализируемый в акте создания аналитического третьего. (Нет ни аналитика, ни анализируемого, ни анализа вне процесса, в котором порождается аналитический третий).

Новая субъективность (аналитический третий) находится в диалектическом напряжении с индивидуальными субъективностями аналитика и анализируемого. Я понимаю интерсубъективного аналитического третьего не как нечто статичное. Скорее, я рассматриваю его как развивающееся переживание, постоянно меняющееся по мере того, как интерсубъективность аналитического процесса преобразуется пониманием, возникающим у аналитической пары.

Аналитический третий переживается с помощью индивидуальных систем личностей аналитика и анализируемого и поэтому не является идентичным переживанием для них обоих. Создание аналитического третьего отражает асимметрию аналитической ситуации, поскольку он создается в контексте аналитического сеттинга, структурированного взаимоотношением ролей аналитика и анализируемого. Бессознательные переживания анализируемого занимают привилегированное место в аналитических отношениях; именно переживание анализируемого (прошлое и настоящее) рассматривается обоими участниками сессии в качестве главного (хотя и не единственного) предмета аналитического диалога.

Переживание того, что я держусь за запястье (считая пульс), я связал с тем что, видимо, буквально нуждаюсь в человеческом тепле,

стараясь уверить себя, что жив и здоров. Это осознание привело к глубокому сдвигу в понимании многих аспектов моих переживаний, связанных с г-жой N. Я почувствовал, что тронут упорством пациентки, с которой она рассказывает мне, по-видимому, бессмысленные истории в течение более чем 18 месяцев. Мне пришло в голову, что она предлагает мне эти истории, бессознательно надеясь, что я смогу найти в них смысл (или создать его), придав таким образом смысл (чувство единства, направления, ценности и подлинности) жизни пациентки. Я уже раньше осознавал собственную фантазию о симуляции болезни, чтобы избежать застывшей смерти сеансов, но не понял, что это “извинение” отражает бессознательную фантазию о том, что я заболел от длительного соприкосновения с безжизненностью анализа. Именно в результате этих и сходных с ними размышлений и чувств (связанных с моим собственным переживанием аналитического третьего) я стал постепенно догадываться о том, что означает диффузная тревога пациентки и ее ощущения, что она оказалась в чем-то ужасном, а в чем именно, она не может определить.

Я сказал г-же N, что теперь лучше понимаю, почему она так подробно рассказывает мне о событиях своей жизни и почему делает это так, что ни мне, ни ей непонятно, зачем она рассказывает эту историю. Я почувствовал, что она не может создать свою жизнь. Вместо этого она дает мне формы, которыми заполняет свое время, в надежде, что я создам для нее жизнь из этих кусочков. В ответ пациентка описала, что ее жизнь на работе и дома состоит почти полностью в организации деятельности других людей, в то время как сама она ничего не делает. Теперь ей кажется, что она использует жизни других людей (подчиненных, мужа и двух детей) и вещи, которые они делают, в качестве замены своей способности создавать, что ощущалось бы как ее собственная жизнь.

Позже она сказала, что пресс-папье на столе возле моего кресла представлялось ей подарком от пациента. Она никогда не давала мне понять, что заметила этот предмет, но очень давно хотела, чтобы он был подарком от нее. До этого момента она не осознавала, что представляет себе не то, как *дарит* мне свой подарок, а *хочет* подарить мне *тот подарок*. Г-жа N. не могла представить себя человеком, способным выбрать (и в этом смысле создать) подарок для меня, так что она представляла себя кем-то другим — человеком, подарившим мне тот подарок. Я подумал, но не проинтерпретировал в тот момент, что за всем этим лежит ее фантазия о том, что она никогда не сможет создать собственную жизнь, поэтому ей остается

только одно — похищать жизнь другого человека. Важно, что я не узурпировал возможность пациентки создавать жизнь в анализе (создавать интерпретации), что она как раз и начала делать.

Несколько месяцев спустя г-жа N рассказала свой сон, в котором она находится в шкафу на кухне, но это не ее кухня. Она как будто “просочилась в шкаф” и находится внутри в деревянной коробке прямоугольной формы. Сон возник в связи с тем, что пациентка рассказала мне о подруге, у которой умерла пятилетняя дочь, и женщина жила в состоянии постоянной психологической боли. Дочь подруги погибла в результате несчастного случая из-за халатности няни (перед тем, как пациентка начала анализ).

Рассказав мне сон, г-жа N замолчала. Ее молчание явно контрастировало с тем, как она прежде подавляла чувства непрерывной речью. Через несколько минут я сказал г-же N, что она описывает мне свое ощущение того, как ей не хватает собственной формы. Боль ее подруги, как бы она ни была ужасна, является человеческим чувством, и я думаю, пациентка боится, что не может испытывать подобных чувств. Хотя она никогда не говорила этого прямо, я чувствую, как она боится, что никогда не сможет испытывать даже боль, которую другие чувствуют из-за смерти своих детей.

Г-жа N заговорила настолько слабым голосом, что я еле услышал ее. В течение долгого времени именно этого она и боялась, и потому испытывала глубокий стыд. Часто она не могла заснуть, тревожась о том, что не сможет горевать, если ее дети умрут, и считала это самым чудовищным грехом, в котором может быть повинна мать! Она чувствовала, что не способна любить своих детей и быть с ними так, как ей хотелось бы. Только теперь она поняла, как она ужасно ими пренебрегала и как они страдали из-за этого. Пациентка снова замолчала и не промолвила больше ни слова в оставшиеся до конца сеанса несколько минут.

Если суммировать, то я понимаю фрагменты только что представленного анализа как начало процесса, в котором переживание смерти пациенткой — как в воображаемой ею неспособности испытывать горе, так и в ее идентификации с мертвым ребенком подруги — стало преобразовываться из недоступной мышлению “вещи в себе” (факта, переживаемого пациенткой и мной как невербально символизированного ощущения смерти анализа) в живое, вербально символизируемое переживание пациенткой (и мной) смерти в анализе. Стало выработываться интересубъективное аналитическое пространство, в котором

смерть могла чувствоваться, видеться, переживаться нами и быть предметом разговора. Смерть стала чувством в противоположность факту.

II

В следующем клиническом обсуждении я опишу аналитическое взаимодействие, иллюстрирующее технические трудности, возникающие в связи с бессознательным желанием пациента, чтобы аналитик служил вместилищем его психической жизни и надежды.

Г-н D. в начальном интервью сказал, что шесть раз пытался проходить анализ и всякий раз заканчивал его по инициативе аналитика. Последняя попытка завершилась за три месяца до нашей первой встречи.

В своей речи и поведении пациент старался продемонстрировать надменность, отстраненность и собственную значимость; однако в его манерах была заметна какая-то хрупкость, так что скоро становилось ясно: его превосходство и пренебрежение едва прикрывали чувства страха, никчемности и отчаяния.

Г-н D. заявил, что если он придет еще раз, то я должен понять, что он не из тех, кто начинает говорить на сеансах первым. Он объяснил, что если я буду “ждать его”, сеанс пройдет в полном молчании. В прошлом он потратил таким образом слишком много времени и денег и надеется, что я не буду повторять этого с ним. Он добавил, что я напрасно потрачу время, если буду спрашивать о “страхах и тревогах”, лежащих в основе его неспособности начать сеанс. “Кроме того, мой ответ на этот вопрос будет равнозначен тому, что я сам начну сеанс, вы знаете это так же, как и я!”

То, как г-н D. представил себя, заинтересовало меня и возбудило соревновательный азарт. Он бросил мне перчатку, и я должен был доказать себе, что я более умелый и ловкий, чем предыдущие шесть аналитиков. Кроме того, я осознал, что меня бессознательно приглашают принять роль поклонника и что в переносе-противопереносе уже начала складываться фантазийная гомосексуальная садомазохистская сцена. В то же время я осознавал, что фантазия о парном со-

ревновании защищает меня от того, чтобы во всей полноте почувствовать смертельную серьезность крушения и ненависти, с которыми я столкнулся. Кроме того, нарциссическая/соревновательная фантазия защищала меня от чувства, что я попался в паутину, которую г-н D. уже начал ткать своими властными и контролирующими инструкциями о том, как должен проводиться анализ. Я представил, что нас ожидают долгие годы изоляции, если мы вместе предпримем этот анализ.

Я сказал г-ну D., что, на мой взгляд, он представляет себе наш анализ как процесс, в ходе которого один или оба будут мучить друг друга до тех пор, пока один не сможет больше этого вынести. Кроме того, я заявил, что не желаю быть ни мучителем, ни жертвой и не хочу участвовать в его самоистязании. Это заявление не было попыткой успокоить его, а просто отражало мое представление об аналитических условиях, в которых я хочу работать. Я согласен говорить первым на каждом сеансе, но буду делать это, только когда мне будет что сказать. Иногда перевод моих переживаний в слова требует много времени, но мое молчание не следует рассматривать как попытку "дождаться его".

Г-н D., кажется, немного успокоился, пока я говорил, и сидел тихо. Я несколько приободрился, так как сумел сказать то, что не являлось ни садистской атакой на пациента, ни компромиссом со стороны кого-либо из нас. Не включало это, как мне казалось, и маниакального возбуждения и отрицания, связанных с фантазией о состязательной игре.

В начале каждой встречи с г-ном D. я пытался найти слова, чтобы передать, что я чувствую в данный момент. Я (молча) строил гипотезы о том, что фантазии и чувства по поводу мучения и фантазии, отражающие маниакальное возбуждение (состязание) в переносе-противопереносе, являются формами защиты от переживания внутренней смерти, которую символизировало чувство г-на D., что ему не с чего начать сеанс (свою историю). Я должен был быть тем, кто вносит жизнь в анализ (создает историю) каждый раз, когда мы встречались. Почти всегда в начале сеанса у меня была сознательная фантазия о том, что я делаю пациенту и анализу искусственное дыхание рот-в-рот. Я решил не говорить г-ну D. об этой фантазии, чтобы не унижать его или преждевременно не обращаться к гомосексуальным аспектам переноса-противопереноса.

Иногда то, что я говорил г-ну D., начиная сеанс, казалось вызубренной наизусть затасканной банальностью, и я изо всех сил старался

избегать готовых аналитических клише, чтобы не вносить дополнительную безжизненность в аналитический процесс и не усиливать безжизненность моего пациента. На одной из первых встреч я сказал г-ну D., что представляю, как пытаюсь убедить его доверять мне. Я знаю, что это будет не только бесполезным, но и разрушительным, так как в чем бы я ни “победил”, все будет восприниматься нами обоими как форма воровства, которая еще больше отдалит нас друг от друга. Г-н D. несколько минут помолчал, а затем стал описывать свою постоянную бдительность в борьбе с ворами: сигнализацию в доме, противоугонные устройства в машине, сейф в офисе и т.д. Он говорил так, словно его слова не были ответом на мое предшествующее замечание. Несмотря на то, что пациент предложил такую информацию, все оставшееся время сохранялось чувство крайне напряженного и хрупкого сооружения, которое грозит рассыпаться в любой момент. Казалось, что нет ничего человеческого, способного скрепить ткань анализа.

На сеансе, который состоялся на шестом месяце анализа, мне на миг показалось, что на глаза г-на D. навернулись слезы, но, приглядевшись пристальнее, я уже не мог с уверенностью сказать, было ли мое наблюдение верным. (Г-н D. в тот момент отказывался лежать на кушетке и поэтому мы встречались лицом к лицу.) Я сказал об этом своему пациенту и заметил: неважно, были или не были у него слезы на глазах, но я чувствую, что происшедшее отражает печальную ситуацию, в которой мы оба находимся. (Я вспомнил, что несколько месяцев назад г-н D. рассказывал мне, как он был благодарен своему предыдущему аналитику за ее честность. Она прямо сказала, что не может ему помочь, вместо того чтобы неразумно упорствовать в продолжении анализа, который не продвигался. Эта мысль напомнила мне о “прижизненной воле”, присланной мне недавно одним из членов моей семьи, где докторам предписывалось не поддерживать пустую иллюзию жизни, после того как реальная жизнь уже закончена.)

Г-н D. с минуту помолчал и затем сказал, что его не тронула моя “маленькая речь”. И снова замолчал. Примерно через пять минут я сказал: то, что произошло сейчас между нами, должно отражать нечто очень важное, основное в его переживаниях. Я чувствовал печаль, которая отчасти была моей собственной — тем, что можно приписать моему чувству крайнего одиночества, когда я был с ним. И тем не менее, я чувствую, что частично испытываю что-то за него, вместо него. Я сказал, что пытался и раньше говорить с ним об этом, но его ответы всегда заставляли меня чувствовать себя либо чок-

нутым, либо дураком, либо и тем и другим. Я сказал, что, если бы мое положение не позволяло мне быть уверенным в своей способности различать, какие чувства реальны, а какие нет, я бы находился в очень тяжелом положении (strain) из-за того, что мое восприятие столь радикально ставилось под сомнение. Я был бы очень удивлен, если бы в важные моменты его жизни он не чувствовал себя в таком же тяжелом положении и тоже сомневался в своей способности различать, какие элементы его переживаний и восприятий являются реальными, а какие нет. Судя по моим переживаниям, в своих попытках прийти к выводу об истинности того, что он думает, видит, чувствует, слышит и т.д., г-н D. подвергался сильному давлению.

Пациент, казалось, игнорировал почти все, что я сказал, и лишь заметил, что я употребил слово “мучить” на нашей первой встрече. Это было наиболее точное слово и “возможно, единственное точное слово”, которое я употребил за все эти месяцы анализа. Он сказал, что его никогда не били и не обращались жестоко, когда он был ребенком. Но он чувствовал: его мучают так незаметно, что он даже не может этого описать, так как не уверен, что происходило тогда, если действительно происходило что-то, выходящее за рамки обычного. Г-н D. сказал, что не будет пытаться рассказывать мне о своем детстве, поскольку оно было нормальным во всех отношениях: “Я сотни раз проходил его с моими предыдущими аналитиками, и там не было ничего, что позволило бы мне рассчитывать на участие в шоу Донахью”.

В этом диалоге мы приблизились друг к другу больше, чем за все время нашего общения. В течение следующих нескольких недель г-н D. демонстрировал все больший антагонизм и пренебрежение ко мне и к процессу анализа. Я проинтерпретировал это так: его атаки на меня и мои попытки говорить с ним драматически усилились после встречи, которую я только что описал. Однажды пациент выразил сильное презрение, когда я назвал “работой” то, что происходит в эти “очень дорогие часы”. Я ответил, что раньше он комментировал использование мной другого слова — слова “мучить”. И добавил: он признает, что я его понимаю, об этом свидетельствует хотя бы то, что я использовал именно то единственное слово, которое заставило его почувствовать, что происходящее между нами становится опасным и выходит из-под контроля. Полагаю, то, что на первый взгляд выглядит как его издевательство надо мной, на самом деле является попыткой защитить меня, заставив выгнать его вон. Я подозреваю, что если я вскоре не прекращу наши встречи, он сам

завершит анализ, потому что это будет его единственным способом защитить меня от усиливающегося мучения, вызванного встречами с ним. Г-н D. не закончил анализ, но почти шесть месяцев он каждый раз в начале сеанса отворачивал свой стул, чтобы сидеть ко мне спиной. Подозреваю, что он не хотел, чтобы я видел его глаза. В этой фазе работы он говорил даже меньше, чем в первые месяцы анализа.

В описанном выше фрагменте анализа г-н D. в фантазии вложил в меня хрупкие остатки своего ощущения жизни и надежды. Я должен был говорить и чувствовать за него (начиная каждый сеанс и становясь контейнером его проективных идентификаций, включающих глубокую печаль и одиночество), в то время как он нападал на меня за то, что я наивно представлял, что смогу уберечь наши жизни перед лицом его дикой жестокости. Крайнее расщепление мучимого и мучающего аспектов пациента было необходимым условием для поддержания хоть каких-то отношений со мной. В ходе анализа пациент начал сам переживать рудиментарные чувства печали и сострадания к тем своим аспектам, которые он спроецировал на меня и переживал через меня.

III

На постоянных консультациях с клиницистами, которые приходят ко мне на супервизию, я прошу аналитиков говорить не только об их диалогах с пациентами, но также и о возникающих у аналитика время от времени мыслях, чувствах, ощущениях. Я прошу аналитиков включить этот аспект своей работы в записи, которые они делают во время сеансов и обсуждают во время консультативных встреч. Кроме того, я предлагаю аналитикам делать записи по ходу всех сеансов, включая те, на которые пациент не пришел. Я считаю, что отсутствие пациента специфически воздействует на аналитика и процесс анализа, и аналитический процесс продолжается, несмотря на физическое отсутствие анализируемого. Так специфический смысл "присутствия" пациента при его отсутствии преобразуется в аналитические объекты, которые полноценно переживаются; с ними можно жить, символизировать и понимать их и делать частью аналитической беседы.

При таком использовании текущих записей аналитик пытается символизировать свое переживание, связанное с пациентом, и говорить о нем себе самому, какими бы отдаленными от пациента ни казались фантазии аналитика, его фи-

зические ощущения, навязчивые мысли, образы и т.д. (Ogden, 1992a,b, 1994a,b,c,d). Я не “настаиваю”, чтобы супервизируемый обсуждал со мной эти аспекты аналитического опыта, поскольку некоторые аналитики просто в силу особенностей собственного темперамента не способны обращаться к этому уровню своих переживаний. Более того, аналитики, консультирующиеся со мной, часто испытывают трудности в том, чтобы доверить мне этот аспект своей работы. Однако я заметил, что по мере развития наших супервизорских отношений, терапевты, проходящие супервизию, обычно развивают эти свои способности и начинают использовать данный аспект аналитического опыта в своей терапевтической работе и при консультациях. Терапевту редко удается включиться в такой супервизорский опыт, если он прежде не принимал участия в успешном личном анализе. При отсутствии подобного опыта (который не пробуждает иллюзий “завершенного анализа” у терапевта редко развивается способность аналитически использовать эти приземленные, повседневные, ненавязчивые мысли, чувства и ощущения, которые занимают его во время аналитических сеансов.

Как и большинство аспектов аналитической техники, внимание аналитика и использование им привычного дискурса, который, кажется, не имеет отношения к пациенту, противоположно характерологическим защитам, выработанным нами в течение жизни. Попытка ослабить нашу зависимость от этих характерологических защит часто ощущается как “отрывание слоя кожи”, оставляя нас с ослабленным стимульным барьером, защищающим границу между внутренним и внешним, между восприимчивостью и сверхстимуляцией, между психическим здоровьем и безумием.

Аналитическая работа, которую я сейчас опишу, происходила в контексте супервизии аналитика, который еженедельно консультировался со мной примерно в течение года. Анализ начался так, что это совсем выбило аналитика из колеи.

Анализируемый, д-р С., был ординатором и специализировался в области семейной медицинской практики. Он читал о психоанализе в колледже, медицинском институте и ординатуре. У него было сильное ощущение “правил анализа” и подчинения им, хотя с самого начала он жаловался на ригидность этой “игры” — например, на необходимость платить за пропущенные сеансы, на “требование” уходить в отпуск тогда же, когда и аналитик, на необходимость подчиняться “фундаментальному правилу” и т.д. (За исключением договоренности по поводу оплаты, аналитик ничего не сказал об этих “правилах”).

Причины обращения д-ра С. к анализу были расплывчаты: он чувствовал необходимость “узнать себя” как элемент обучения семей-

ного врача. Мысль о том, что он может просить о помощи, испытывая психологическую боль, казалась ему актом подчинения, который пациент не мог вынести в начале анализа. Он приходил на каждый сеанс вовремя и покорно предавался “свободным ассоциациям”, представляя смесь снов, детских воспоминаний, сексуальных фантазий и текущих трудностей, связанных с работой, отношениями с женой и детьми и стрессами. Он признавался в тайных действиях, из-за которых чувствовал стыд, например, в том, что использовал порнографические журналы при мастурбации и дважды подделал лабораторные отчеты в мединституте.

Однако с самых первых дней своему аналитику, д-ру F., пациент казался на удивление скучным. Он чувствовал, будто пациент пытается имитировать то, что ему представляется процессом “хорошего анализа”. Д-ру F. стоило огромных усилий удерживаться от интерпретаций представляемого ему материала, например, сновидений, которые, казалось, “умоляли о переносных интерпретациях”. На консультации д-р F. обсуждал возможные интерпретации, которые он мог бы дать, но предпочел удержаться. Мне казалось, что эти интерпретации лишь имитировали бы “глубокие” переносные интерпретации и предлагались д-ром F. в попытке создать собственную фантазию “хорошего анализа”. Со временем аналитик стал чувствовать большое искушение “выпороть” своего пациента или даже высказать презрительный комментарий по поводу пустоты его “вербальной продукции”.

Постепенно, от консультации к консультации, у нас возникла и стала развиваться мысль, что для д-ра F. очень важно не вступать в пустой (инертный) разговор с пациентом и в то же время поддерживать свою способность принимать любые мысли, чувства, ощущения, которые у него возникали (см. Bion, 1978; Symington, 1983). Никакую интерпретацию, никакой отклик на пациента не следовало “гасить” или отбрасывать. От д-ра F. потребовалось огромное психологическое усилие, чтобы не вести себя механистически, отстраненно или имитировать “идеальную” версию своего аналитика или супервизора.

Д-р F. выработал собственный стиль ведения записей во время сеансов, в которых он мог схватывать нечто целостное, происходящее на сеансе, включая детали собственных переживаний. Я думаю об этом как о попытке аналитика сфокусироваться на противопереносных аспектах переноса-противопереноса как “целостной ситуации” (Joseph, 1985; Klein 1952; Ogden 1991a). Другими словами, именно

перенос-противоперенос, а не просто перенос образует матрицу, в которой в аналитической ситуации генерируются смыслы.

Когда д-р F. представлял мне сеансы на наших еженедельных консультативных сессиях, никто из нас не чувствовал давления и не пытался устанавливать однозначные соответствия между мыслями и чувствами д-ра F. и пациента. Временами каждый из нас предлагал свое понимание соотношений между переживаниями д-ра F. и тем, что происходило на аналитическом сеансе. Обычно мечты д-ра F. просто внутренне отмечались им и мной по мере того, как мы слушали последующий материал. Иногда мы возвращались в наших обсуждениях к мечтаниям, которые д-р F. представлял на консультациях несколько недель или месяцев назад.

Мысли д-ра F. в первые месяцы анализа часто содержали приятные образы, связанные с его приближающимся отпуском или недавним походом по интересным магазинам или книжным лавкам во время обеденного перерыва. Мы понимали это не просто как эскапистские фантазии, но чувствовали, что они в каждом случае отражали специфический отклик на то, что в данный момент происходило в анализе. Однажды некоторые фантазии д-ра F. об отпуске приобрели нереально идеализированный характер и, казалось, стали отражать осуществляющую мечты природу анализа. Пациент не хотел настоящего анализа, защищаясь, он вождедел идеального. Другими словами, анализируемый бессознательно желал всемогущего, “сотворенного” анализа, который не включал бы реальных встреч с другим человеком и все, что они подразумевают: тревоги, человеческие ошибки, непонимание и т.д.

Д-р F. пытался сохранить в себе живую любознательность, спрашивать, спонтанно комментировать то, что происходит в аналитическом взаимодействии, несмотря на стереотипные реакции, которые он часто получал от пациента. “Аналитический этикет” не воспринимался д-ром F. как нечто священное, к большому удивлению и неодобрению пациента. Например, пациент однажды заметил, что хочет получить от д-ра F. совет, но тут же добавил: он знает, что д-р F. не может дать ему совета. В ответ д-р F. спросил пациента, почему он не может дать ему совет. В конце концов он не дал ему никакого совета, но вместо этого возникла дискуссия об использовании пациентом фантазийных правил (его собственных всемогущих созданий и проекций), для того чтобы предохранить его от переживаний и мыслей о личной, идиосинкразической, непредсказуемой природе опыта, возникающего между ним и д-ром F.

Когда д-р F. интересовал какой-либо аспект материала, который обсуждал пациент, он спрашивал его о дальнейших деталях, даже если вопросы казались незначительными. Например, однажды д-р F. спросил, как назывался ресторан, который пациент вскользь упомянул, рассказывая о прекрасно проведенном вечере. Аналитик прекрасно осознавал, что пропуск детали (название ресторана), вполне возможно, представляет собой поддразнивание и исключение аналитика (проекцию любопытства пациента и его чувства исключенности из жизни аналитика). Однако в тот момент д-р F. решил спросить (точнее, обнаружил, что спрашивает) о детали, которая возбуждала его любопытство, отказавшись исследовать дразнящий эффект пропуска этой детали. (Колтарт [Coltart, 1986] давал сходные рекомендации о том, что можно позволить себе смеяться шуткам пациента до того, как проанализирована сознательная и бессознательная мотивация, стоящая за желанием пациента заставить аналитика смеяться.)

Следует подчеркнуть, что в то время как д-р F. пытался обеспечить в анализе место для спонтанности и “свободы мысли”, он, конечно же, относился к аналитической рамке по-рыцарски — сеансы начинались и заканчивались вовремя; при переходе из приемной в кабинет не происходило случайных разговоров; внушение, одобрение, увещевание и т.п. занимали в этом анализе не больше места, чем в других, проводимых этим осторожным и вдумчивым аналитиком.

На протяжении большей части первого года анализа д-р F. чувствовал, что жизнь анализа сохраняется в основном благодаря его способности сохранять свободу мечтаний во время аналитических сеансов и нашим обсуждениям этих мечтаний. К началу второго года анализа появились заметные изменения: пациент стал чаще говорить собственным голосом, который уже не казался таким клишированным, стереотипным и имитирующим, как раньше. Однако д-р F. считал эти изменения хрупкими и кратковременными.

В этот период анализа д-р F. представил на консультации сессию, в начале которой пациент молчал несколько минут. Д-р F. сказал мне, что он сам в это время думал о том, что я проведу свои рождественские каникулы на Гавайях. Он гадал, возьму ли я с собой рождественские подарки, обернутые в блестящую красную и зеленую бумагу. Он представлял, как будет странно обмениваться рождественскими подарками на Гавайях, и описывал мою жену, преподносящую мне в подарок шерстяной свитер. Я прокомментировал это так: д-р F. выражает свой скептицизм по поводу некоторых идей, кото-

рые мы обсуждали в ходе супервизии, особенно моего акцента на том, как важны для д-ра F. способность к творчеству и спонтанность в работе (в противоположность принятым рефлексивным, имитирующим, заранее выработанным подходам).

Обсуждая мечтания д-ра F. по поводу моих каникул, я сказал, что мне кажется, он описывает меня как участника самообманной игры, в которой я отношусь к Рождеству как к чему-то, что можно выкопать и передвинуть с одного места на другое, ничего не меняя в переживаниях, — так же, как можно пересадить растение из одного угла сада в другой. Чувство, которое было в его фантазии, говорило, что для меня Рождество — это всего лишь форма и что я утратил соприкосновение с любым смыслом или чувством, выходящим за пределы того, что обычно связано с Рождеством. Это мечтание отображало разочарование д-ра F., а также некоторую долю соревновательного удовольствия, поскольку он обнаруживал, что я недостаточно понимаю себя и сам механистичен.

Нам обоим казалось, что д-р F. говорит о нас обоих: “Огден хорошо играет в реальность, подлинность, искренность, спонтанность и т.д., но когда доходит до дела, то он, может быть, и сам не знает, что реально, а что нет”. Мы с д-ром F. обсуждали, как мой акцент на спонтанности может привести д-ра F. к следующей дилемме: он может попытаться “тренировать себя” в спонтанности. Даже хуже: он может бессознательно почувствовать, что для “достижения спонтанности” ему нужно имитировать меня. После обсуждения этого рождественского мечтания д-р F. яснее увидел, что его пациент уже в течение некоторого времени испытывает похожее бремя. Несколько месяцев д-р С. говорил, что он ощущал внутреннее давление, призывающее его “включиться” в анализ, т.е. быть интересным для д-ра F. Только в этот момент комментарий д-ра С. приобрел аналитическое значение (стал “аналитическим объектом”), который можно символизировать, интерпретировать и по поводу которого можно рефлексировать. Д-р F. почувствовал, что он теперь лучше понимает, что внутреннее давление пациента “включиться” отражало бессознательную фантазию пациента о том, что он может быть живым для д-ра F. лишь в той степени, в какой научится думать, чувствовать, говорить и вести себя в той же манере, что и д-р F.. Это ставило пациента в невозможную позицию, где быть живым и быть интересным для д-ра F. означало одно и то же. Парадоксально, что идея ощущения себя живым стала для д-ра С. бессознательно эквивалентной тому, чтобы стать д-ром F. (его идеализированной версией).

В ходе нескольких последующих недель д-р F. предложил пациенту свое понимание этой дилеммы, лежащей в основе чувства д-р С., что он испытывает давление “включиться” в анализ. Эта интерпретация, как и понимание себя д-ром F., на котором она была основана, способствовали созданию психоаналитического пространства, где пациент и аналитик смогли развивать свою способность порождать мысли и чувства без ощущения, что они следуют незримому сценарию или парадигме, которую оба должны пережевывать или имитировать.

В описанной нами клинической истории для аналитика было очень важно иметь собственные, не зависящие от меня мысли (эту потребность символизировала бессознательная критика д-ра F. в мой адрес, содержащаяся в его рождественском мечтании). Только когда д-р F. осознал, каким образом оказалась парализованной его способность к оригинальному мышлению (из страха столкнуться со своей защитной идеализацией меня), он смог полностью восстановить свою способность к мечтаниям. Символизация и понимание д-ром F. этого защитного процесса (как он был описан в рождественском мечтании) создало основу для его интерпретации бесплодных попыток пациента преодолеть собственное ощущение смерти, пытаясь (в фантазии) стать совершенным пациентом, т.е. защитно-идеализированной версией собственного представления об аналитическом пациенте.

IV

Последняя клиническая виньетка, которую я приведу, сосредоточится на проблеме “соревнования”, “соперничества” (Tustin 1980, см. также Ogden 1989a,b) с формой смерти, включающей в себя патологически аутистический аспект личности. В анализе взрослых пациентов аутистический компонент личности часто совсем не очевиден в начале работы (S. Klein 1980).

На первой аналитической встрече г-жа S. говорила о том, как ей трудно “собрать жизнь вместе”. Она не сумела закончить колледж, потому что оказалась неспособна сосредоточиваться. Ее супружеская жизнь была сильно расстроена, и женщина чувствовала, что находится на грани паники.

В рамках данной работы невозможно дать отчет об этапах развития аналитического процесса в течение первых восьми лет. Результат

этих лет работы в самом общем виде можно суммировать так: несмотря на то, что произошли существенные изменения в способности пациентки функционировать в мире (например, она смогла закончить колледж и найти ответственную работу), ее способность вступать в отношения с другими людьми осталась очень ограниченной. Г-жа S. и ее муж спали в отдельных спальнях и иногда занимались тем, что пациентка описывала как “механический секс”. Пациентке потребовалось более пяти лет анализа, чтобы просто осознать, что она “ведет” своих трех детей, как “воспитательница детского сада” и очень слабо ощущает их индивидуальности. Ее дружеские отношения носили поверхностный характер и только к концу седьмого года анализа она стала чувствовать, что в ее жизни отсутствуют любящие отношения.

В аналитических отношениях я вновь и вновь поражался (как редко бывало с другими пациентами) глубиной неспособности пациентки выражать или переживать какие-либо теплые чувства ко мне. Это не означало, что г-жа S. не чувствовала своей зависимости от меня. На нее плохо действовали перерывы на уик-энды, ее и мои отпуска, окончания каждого сеанса. Она часто звонила мне на автоответчик, чтобы услышать мой голос (не оставляя своего сообщения). Однако г-жа S. переживала свою зависимость не как личную привязанность, но как пагубное пристрастие, которое очень расстраивало ее. Она однажды объяснила мне: “Героиновая наркоманка не любит героин. То, что она убивает, чтобы достать его, не означает, что она его любит или испытывает к нему какие-либо хорошие чувства”. Пациентка чувствовала себя могущественно-недоступной в своей изоляции и, казалось, ценила это чувство “иммунитета по отношению к любой человеческой уязвимости” больше, чем что-либо другое в жизни. Это качество “недоступности” отражалось в ее аноректической симптоматологии. Пациентка сидела на диете из фруктов, круп и овощей и организовала свою жизнь вокруг строгого режима упражнений, включавшего марафонские забеги и интенсивное использование велотренажера. Она старательно упражнялась в течение как минимум трех часов ежедневно. Если ее привычные упражнения как-либо нарушались (например болезнью или путешествием), пациентка испытывала сильную тревогу, которая дважды вылилась в приступ паники. Г-жа S. в начале анализа не испытывала аппетита к пище, сексу, идеям, искусству или чему-то еще. Вес имел для нее наибольшее значение: поддерживая определенный вес (на самом пределе того, что она могла вынести, не заболев физически), она испытывала род могущества, позволявший ей в фантазии контролировать все, что может произойти как внутри, так и вовне.

Было бы неточным сказать, что пациентка всегда чувствовала себя онемевшей или бесчувственной на аналитических сеансах. Г-жа S. часто испытывала сильную злость ко мне, которую она называла ненавистью. Однако ее злость никогда не выглядела личной, то есть как-то связанной со мной. Ненависть даже не выглядела личным порождением пациентки; скорее она казалась слепой, рефлекторной, почти конвульсивной вспышкой ярости, происходившей, когда ее чувство абсолютного контроля надо мной и владение мной подвергалось сомнению. Поскольку я был человеком/объектом, оказавшимся здесь, получалось, что я становился объектом ее ярости. Критика г-жи S. в мой адрес всегда включала ее проективную фантазию моего всемогущества: она чувствовала, что я легко могу дать ей то, в чем она нуждается, но упрямо отказываюсь это сделать.

Кроме этих упорных попыток получить доступ к моей фантазийной всемогущей силе, кажется, во мне больше не было ничего интересного для пациентки. Мне было трудно признать, как мало я значил для пациентки за рамками той фантазии, о которой я говорю. С годами пришел к убеждению, что г-жа S. тайно любит меня (хотя и примитивным образом), чувствует некоторую заинтересованность во мне, знает что-то обо мне как о человеке, но упорно отказывается это признать. Это убеждение было основано на интенсивном чувстве зависимости пациентки от меня, потому что я о ней заботился и проявлял к ней интерес. Временами я интерпретировал то, что чувствовал, как тревогу пациентки по поводу признания любого чувства человеческой связи со мной, так как она боялась потерять контроль над своим внешним и внутренним миром. Она отвечала, что это, может быть, и правда, но она не осознает чувств привязанности, любви, тепла или даже интереса ко мне или к кому-то еще. Защитная функция такой позиции пациентки много раз обсуждалась, но не привела ни к какому заметному аффективному изменению. (Эти интерпретации и пациентке и мне все больше начинали казаться тупиковыми.)

Возможно, реакция пациентки на смерть моего отца была той точкой, с которой стало ослабевать мое убеждение, что пациентка тайно испытывает любовь или интерес ко мне. События, произошедшие между г-жой S. и мной в связи с этим (на восьмом году анализа), заставили меня почувствовать, что существует качественная разница между человеческой разобщенностью, которой достигла г-жа S., и формами защит от опасности любви и ненависти, с которыми я встречался у других пациентов. Получив неожиданное известие о смерти отца, я позвонил своим пациентам и супервизируемым, что-

бы сказать им, что на несколько дней я отменяю встречи. Я пообещал каждому сообщить, когда я возобновлю работу. Когда я говорил с г-жой S., она спокойно выслушала известие, но тут же поинтересовалась, когда примерно я смогу вернуться к работе. Я ответил, что пока не знаю, но дам ей знать, когда.

На первой же встрече после моего возвращения г-жа S. сказала, что она “сожалеет, что кто-то в моей семье умер”. В ее голосе была несомненная злость, особенно в том, как она подчеркнула неопределенность слова “кто-то”. Пациентка помолчала несколько минут, а потом заявила: она в бешенстве из-за того, что не знает, кто умер, а я поступил по-садистки, не сообщив ей об этом, когда позвонил. Она была уверена, что всем остальным пациентам я сказал, кто же у меня в семье умер. Во время этого разговора я был глубоко расстроен от осознания того, с чем боролся почти десять лет: я понял, что г-жа S. была не способна ничего чувствовать ко мне как к человеку, вне пределов своей потребности защитить саму себя, пытаюсь магически проникнуть в меня и контролировать меня изнутри.

В этот момент я начал до мелочей вспоминать, что испытывал во время телефонного звонка г-же S., вскоре после того, как узнал о смерти отца. Я очень ярко припомнил, как пытался контролировать свой голос, когда говорил с ней, чтобы удержать слезы. Я спрашивал себя: возможно ли, чтобы она ничего этого не услышала? Как же она не расценила этот момент (как испытал я) как такой, в котором между нами возникла близкая общность? Вместо этого она явно переживала его просто как еще один случай, когда были фрустрированы ее всемогущие желания.

Я почувствовал, что мой голос, которым я разговаривал сам с собой в тот момент, — это голос человека, испытывающего чувство непроницаемого отчуждения от г-жи S. В то же время я впервые осознал в своем голосе и нечто другое. Это был голос отвергнутого любовника. Мне пришло в голову, что г-жа S. жила в мире, где две различные формы человеческих переживаний взаимно исключали друг друга.

В этот момент я почувствовал, что приблизился пониманию чего-то в отношениях между г-жой S. и мной, чего прежде не улавливал. Это новое понимание не защищало меня от остужающей бесчеловечности, которую я ощущал в г-же S. и которая отражала важные аутистические и параноидно-шизоидные черты в ее личности. Оно не пыталось затуманить признание того, что наряду с мощными

аутистическими и параноидно-шизоидными защитами была способность к человеческой любви. В этот момент я ретроспективно заметил, что это я не проявлял достаточного сострадания к г-же S. и ее желанию создавать мне комфортные условия (*как будто она моя жена*), и, как следствие был слеп к тому, что отсутствие сострадания у нее представляло собой сложное взаимодействие двух мощных сосуществующих аспектов ее личности. Она думала обо мне и была подавлена оттого, что я не ощущаю ее любовь (это отражалось, например, в том, что я не позволял ей создать для меня комфортные условия). В то же время она не могла жить человеческой жизнью, а вместо этого жила в механическом всемогущем мире отношений с “аутистическими формами” и “аутистическими объектами” (Tustin 1980, 1984) (например, в механической самодостаточности своих упражнений и диеты) и параноидно-шизоидных фантазий о проникновении в меня и паразитической жизни во мне и посредством меня.

Я не был способен переносить, формировать и интерпретировать себе и пациентке взаимно непроясненные отношения между тем, чтобы быть живым и быть мертвым (т.е. сосуществование депрессивного, параноидно-шизоидного и аутистически-прилегающего [Ogden, 1989a,b] измерений личности пациентки). Г-жа S. любила меня и в то же самое время ничего не чувствовала ко мне. Я испытывал привязанность к ней (что полнее осознал в своем чувстве отвергнутости как любовника), но не мог позволить себе чувствовать тепло и сострадание к той, что была так явно нечеловечна и негуманна (например, в отношениях к мужу, детям и в своих реакциях на меня, в частности, после смерти моего отца).

Позже на том же сеансе я сказал г-же S., что с моей точки зрения, она недооценивает два момента в наших отношениях: силу существующей привязанности и степень отсутствия каких бы то ни было отношений между нами. Теряя из виду одну или другую сторону этой ситуации, я не могу понять, кто она в целом и кто мы вместе. Я полагаю, отсутствие человеческой связи между нами все еще остается значительной силой, с которой необходимо считаться, но дистанция между нами уменьшилась за то время, пока мы знаем друг друга.

Г-жа S. ответила, что раньше я никогда не говорил с ней так. Прежде она слышала лед в моем голосе и всегда чувствовала, что в каком-то смысле я также холоден, как и она. Но сейчас она не может

обнаружить в моем голосе этого холода. Она не считает, что этот лед окончательно растаял, но он, по крайней мере, не доминирует над всем, что происходит между нами в данный момент.

Я расценил это заявление как выражение пациенткой чувства облегчения: она может принять мое понимание, чего никогда не могла сделать раньше без того, чтобы немедленно не напасть или, чаще, уйти в отстраненное состояние аутистической самодостаточности или всемогущей параноидно-шизоидной защитной фантазии. Моя интерпретация не отрицала ни ее эмоциональной смерти (параноидно-шизоидного и аутистически-прилегающего способов самозащиты), ни ее возросшей способности к переживанию человеческой связи со мной (хотя и очень неохотно признаваемой ею).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Я представил четыре клинических обсуждения, чтобы проиллюстрировать, какими способами чувства жизни и смерти создаются и переживаются в аналитическом третьем и с его помощью. В каждой из описанных клинических ситуаций аналитик пытается создать аналитический смысл ("аналитические объекты") из того, что бессознательно присутствует в аналитической встрече и накладывает на нее свой мощный отпечаток, но укрыто от аналитического разговора. Именно в результате использования аналитиком своих мечтаний, ненавязчивых повседневных мыслей, чувств и ощущений (часто, кажется, не имеющих отношения к пациенту) эти особые словесные, символические значения рождаются и в конце концов используются в интерпретативном процессе. В описанных мной четырех случаях анализа особое качество переживания жизни и смерти, порождаемое в переносе-противопереносе, создает важную интросубъективную конструкцию, отражающую центральный аспект патологически структурированного мира внутренних объектов анализируемого.

Глава третья

ПЕРВЕРСНЫЙ СУБЪЕКТ АНАЛИЗА

Сейчас широко признано, что анализ перверсий в своей основе не является процессом расшифровки и интерпретации бессознательных фантазий, тревог и защит, которые отыгрываются в сексуальных действиях перверсного пациента. Теперь все шире признается, что в центре анализа перверсии стоит понимание и интерпретация трансферентных феноменов, которые структурируются перверсным миром внутренних объектов пациента (Malcolm 1970, Meltzer 1973). Я считаю важным, чтобы это растущее понимание продвинулось еще на шаг вперед: с моей точки зрения, анализ перверсии непременно включает в себя анализ *перверсного переноса-противопереноса*, разворачивающегося в аналитических взаимоотношениях.

При анализе перверсии нельзя надеяться понять, что пациент хочет нам сообщить, не выходя (хотя бы отчасти) на перверсную сцену, создаваемую в переносе-противопереносе. В результате аналитик, пытающийся рассуждать об анализе перверсий, должен описать нечто из собственного опыта в перверсном переносе-противопереносе; иначе он представит препарированную, отстраненную и в итоге фальшивую картину анализа, не улавливающую переживание “пения Сирены”, исходящего из первичной сцены, в которой он невольно участвует*.

*Когда разворачиваются перверсные intersубъективные конструкции, порождаемые в ходе анализа перверсий, они, по моему опыту, являются (в значительной степени) недоступными для сознательного понимания аналитика. Поэтому аналитику необходимо попытаться “...поймать течение (drift) бессознательного пациента своим собственным бессознательным” (Freud 1923a, p. 239). Аналитик должен в некотором смысле прийти к пониманию перверсного переноса-противопереноса “после случившегося”, т.е. в ходе собственной психологической работы, необходимой для осознания собственного *бессознательного* переживания перверсного переноса-противопереноса (и участия в нем).

В этой главе с помощью детального клинического обсуждения я проиллюстрирую то, как форма перверсности переноса-противопереноса исходит из ядерного переживания психологической смерти. История этой формы перверсии — это фантазийная история мертворожденного Я, возникшего в результате фантазийного пустого полового сношения родителей. Это история, которую нельзя рассказать (т.е. нельзя пережить ее герою), поскольку герой (мертворожденный младенец) мертв, и поэтому сам акт рассказа (создания) истории является ложью, пустой выдумкой. Парадоксально, что ложь и признание ее фальшивости в контексте аналитического разговора — это единственный реальный остров правды (единственное переживание, которое кажется реальным как для аналитика, так и для анализируемого).

Сердцевиной перверсного процесса, который мы собираемся обсудить, является отказ признать психологическую смерть героя/субъекта (и пустоту аналитической беседы, в которой участвуют пациент или пациентка) и его замена на иллюзорный субъект — перверсный субъект анализа. Перверсный субъект анализа — это рассказчик эротизированной, но пустой драмы, разворачивающейся на аналитической сцене. Драма сама по себе создается для того, чтобы произвести фальшивое впечатление о том, что повествователь (перверсный субъект) живой — своей властью возбуждать. Перверсная аналитическая сцена и перверсный субъект анализа конструируются совместно аналитиком и анализируемым, для того чтобы избежать переживания психологической смерти и признания пустоты аналитического отношения/сношения (*discourse/intercourse*). В каком-то смысле перверсный субъект анализа образует третьего аналитического субъекта, интерсубъективно создаваемого и переживаемого посредством индивидуальных субъективностей аналитика и анализируемого в контексте их отдельных, но взаимосвязанных систем личности. Впоследствии совместно созданная интерсубъективная конструкция (перверсный субъект) переживается отдельно аналитиком и анализируемым. (В серии недавних публикаций [Ogden 1992a,b, 1994a,b,c,d] я обсуждаю концепцию интерсубъективного аналитического третьего, так же как и специфические формы интерсубъективного третьего, такие как поработавший третий проективной идентификации [Ogden 1994c,d])

Перверсия переноса-противопереноса в той или иной степени возникает в любом анализе. Для некоторых пациентов это доминирующая форма аналитического взаимодействия, затмевающая все другие способы защит и объектных отношений. Для других пациентов она расцветает (*on ascendancy*) только на специфической фазе или фазах анализа. Еще для одной группы пациентов перверсность переноса-противопереноса представляет собой фон, проявляющийся в первую очередь в форме хорошо замаскированного сексуального возбуждения, ассоциирующегося с бессознательными усилиями пациента препятствовать анализу, но очень трудный для распознавания (например, бессознательное возбуждение пациента, связанное с его/ее хронической неспособно-

стью/нежеланием породить хотя бы одну оригинальную мысль в анализе [Ogden, 1994b]).

Понимание перверсии, которое будет здесь обсуждаться, во многом основано на идеях, выдвинутых несколькими аналитиками, работающими в Англии и во Франции. Хан (Khan 1979) рассматривает, каким путем перверсность становится компульсивно повторяющимся усилием создать переживание, которое замаскировало и частично заменило бы отсутствие ощущения своей жизни как человеческого существа. МакДугалл (McDougall 1978, 1986) обсуждает потребность сексуально девиантного пациента порождать “неосексуальности” в попытке построить Я, поскольку существующие Я и сексуальность ощущаются фрагментарными, защитными и нереальными. Шассге-Смиртель (1984) описывает перверсного пациента как человека, который полагается на всемогущие притязания, что нет пределов сексуальным возможностям, в бессознательной попытке оградить себя от пугающего осознания различий между полами и поколениями. Малькольм (Malcolm 1970) клинически иллюстрирует идею о том, что анализ перверсии не является вопросом препарирования символики девиантных половых актов, но анализом переживания перверсности переноса в аналитических отношениях (см. также Meltzer 1973). Джозеф (Joseph 1994) предложила понимание перверсного сексуального возбуждения в аналитической ситуации как формы атаки на способность аналитика и анализируемого думать, атаки посредством постепенной сексуализации переноса и акта мышления.

В предстоящем клиническом обсуждении я сосредоточу свой интерес на технических проблемах, представленных перверсией самой аналитической интрасубъективности. Я собираюсь поговорить о том, как аналитик сам себе бросает вызов, пытаясь извлечь понимание перверсного аналитического процесса из своего переживания в этом процессе, находясь внутри этого процесса и поддерживая при этом свою способность думать и разговаривать с самим собой об этом процессе и в конце концов обсуждать свое понимание с пациентом в форме вербальных интерпретаций. После клинического обсуждения я попытаюсь предложить несколько теоретических положений, касающихся некоторых аспектов перверсии и ее структуры.

КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ЧЕРЕЗ СТЕКЛО

Г-жа А. в начале нашей первой сессии сказала, что решила проконсультироваться у меня, поскольку ее супружество превратилось в “обман”. Они с мужем не занимались сексом более пяти лет. Пациентку больше всего расстраивало

осознание того, что эта ситуация совсем ее не беспокоит. В прошлом все было ужасно важно, но сейчас, в среднем возрасте (ей было 43 года), все кажется не имеющим значения. Двое ее детей, которым было около двадцати лет, недавно покинули дом, поступив в колледж. Мне казалось, что, хотя г-жа А. не гнала мне во время наших первых встреч, причиной ее обращения к анализу стала какая-то более обширная история, чем та, которую она рассказала. Конечно, так происходит практически всегда, но у меня было отчетливое впечатление, что г-жа А. держит меня в неведении относительно весьма определенных и важных вопросов, которые она осознает. Во время наших встреч что-то вызывало у меня ощущение, будто я смотрю детективный фильм (или в фантазии нахожусь в нем). В частности, я подумал о Джеке Николсоне и Фэй Данауэй в *“Чайнатауне”* и нескольких фильмах с Хэмфри Богартом и Лорен Бэлл, название которых я не мог вспомнить. Я был заинтригован своей пациенткой. То, какие слова она выбирала, свидетельствовало о богатом воображении, а речь — о витальности, которые противоречили ее описанию себя как безжизненной женщины средних лет.

Во время первого года анализа г-жа А. рассказала мне о своем детстве в Южной Калифорнии. Ее отец торговал недвижимостью, он очень быстро разбогател, а затем обанкротился в результате ряда событий, не совсем понятных для г-жи А. Отец пациентки скрывал факт своего банкротства от друзей и коллег и сохранял лицо в течение более чем десяти лет, пока не создал еще более крупную *“империю”* недвижимости, чем та, которая была у него прежде. После восстановления *“империи”* большинство друзей, клиентов и деловых партнеров отца г-жи А. оказались людьми, связанными с киноиндустрией. Раз или два в месяц родители пациентки устраивали большие вечера у себя дома. Эти события были центральными в жизни семьи. Оба родителя выглядели постоянно чем-то *“поглощенными”*: мать г-жи А. посвящала себя подготовке очередной вечеринки, тогда как отец с *“лихорадочной интенсивностью”* работал над очередной сделкой с недвижимостью.

На этих *“общественных”* событиях в доме родителей пациентки много пили и употребляли наркотики. Трансвестизм и *“агрессивная гомосексуальность”* некоторых гостей ярко всплывали в ее памяти. Г-жа А. посещала большинство этих вечеринок и рассказывала, что если она не претендовала на роль взрослой, то чувствовала себя невидимой (*“как будто ребенка там не было”*). Временами она чувствовала себя бутафорским реквизитом, когда тот или иной гость демонстрировал свое *“понимание детей”*. В других случаях к ней относились как к *“карикатуре на взрослую”*, так что она чувствовала, что становилась мишенью шутки, смысла которой не понимала. Очень часто ей было ужасно скучно из-за *“абсолютной предсказуемости всего этого: можно было считать, что каждый безупречно играет роль”*.

Пациентка не помнила, наблюдала ли она явное сексуальное поведение и была ли его объектом, но чувствовала, что там было “слишком много поцелуев”. Со временем она узнала, что такой тип поцелуя выражает “социальные чувства”. Несмотря на это, г-жа А. чувствовала, что все это “круто”. Пациентка описывала эти вечеринки с плохо скрываемым чувством гордости. Она вскользь упоминала имена кинознаменитостей, которые были постоянными гостями вечеринок.

Образ родителей пациентки, возникавший из описания ее детства, создавал впечатление, что эта пара вместе работала над созданием иллюзии своей причастности к богатым, шикарным людям, не имея кроме этого ничего общего ни друг с другом, ни со своими детьми. Мать пациентки страдала от хронической бессонницы и других “нервных состояний”. Чтобы не мешать отцу пациентки, она всю ночь читала в спальне для гостей. Но открыто не признавалась, что родители спят в разных спальнях на протяжении практически всей супружеской жизни. Действительно, в начале анализа г-жа А. сама не осознавала полностью своего предположения, что бессонница ее матери была очень похожа на предлог, под которым родители спали в отдельных спальнях.

Значительная часть явного содержания первых полутора лет анализа представляла собой развитие повествования пациентки о своей жизни, особенно о детстве. Г-жа А. говорила увлеченно, но оставляла мне очень мало времени для комментариев. У нее практически совсем не было периодов молчания, которые длились бы дольше нескольких секунд. Пациентка спокойно относилась к тому, что не способна запомнить свои сны.

Г-жа А. не была красивой женщиной в обычном смысле слова, но во всем, что она говорила и делала, присутствовала несомненная легкая сексуальность. Я каждый день ожидал ее прихода и мне нравилось слушать ее рассказы. Пациентка встречала меня в приемной теплой улыбкой, свидетельствующей о том, что она рада меня видеть, но была, без сомнения, отчаянно зависимой от меня. Г-жа А. держалась с юной независимостью, казалось, приглашая меня разделить ее бунтарский настрой. Она производила впечатление человека, только что поселившегося по соседству и решившего заглянуть на минутку. В то же время пациентка придерживалась аналитической рамки, редко опаздывала, пунктуально платила и обращалась ко мне “доктор Огден”, когда изредка оставляла сообщение на автоответчике.

У нее возникали настойчивые фантазии о том, что я болен серьезной соматической болезнью, характер которой я от нее скрываю. Кроме того, у нее были страхи по поводу нарушения конфиденциальности, например, тревога о том, что я буду говорить с ее мужем, если он начнет гневно обвинять меня в том,

что по соображениям личной выгоды я затягиваю анализ и настраиваю пациентку покинуть мужа. Эти фантазии обсуждались в течение длительного времени, в том числе ее мысль о том, что я на самом деле не такой, каким выгляжу, ощущение, что она каким-то образом обманывает меня. Более того, возбуждение от этой борьбы за пациентку тоже обсуждалось нами, так же как мысль о моем желании украсть пациентку у ее мужа. Однако эти интерпретации казались мне механистичными. “Плоский” характер этих интерпретаций и реакций пациентки на них отражали общую недостаточность рефлексивного мышления в анализе. Ум и талант рассказчицы как будто служили пациентке заменой спонтанного, творческого мышления. (Я также чувствовал необходимость быть умным и замечал, что иногда подсказываю названия книги или стихотворения, которые пациентка временно забыла.)

Я пытался быть в своих “мечтаниях” (Віоп 1962а) во время сеансов, поскольку считаю этот аспект аналитического опыта необходимым для понимания переноса-противопереноса (Ogden 1989b, 1994a,b,c,d). Во время одной из наших встреч пациентка говорила, что накануне вечером вместе с мужем смотрела телевизор. Она описывала, как они сидели на диване в гостиной, и она чувствовала, что они похожи на двух незнакомцев в поезде метро, сидящих рядом без малейшего чувства общности. Когда г-жа А. говорила, я обнаружил, что думаю о том, что управляющий стоянки возле моего офиса начал приготовления к открытию мойки для машин. Недавно он приобрел промышленный пылесос, который при работе издавал оглушающий звук. Его подруга, которую я считал грубой и жесткой женщиной, помогала ему в этом. Я представил, что звоню в мэрию, чтобы оставить жалобу о нарушении правил об уровне шума. Существуют ли такие правила? Как же их может не быть? Есть ли кто-то в мэрии, с кем я мог бы это обсудить? Должен же быть какой-то процесс рассмотрения этих запросов. Я все больше тревожился и представлял себе эту недоступную аргументацию, недоступную пару и бюрократическую волокиту в мэрии, где нет никого, кто отвечал бы за это.

Когда я вышел из этих все более затягивающих мыслей, чувств и ощущений, то был поражен интенсивностью переживаемой мною тревоги*. Я заинтересовался параллелью между парой на автостоянке и родителями пациентки: у каждой пары были свои планы, на которые ни пациентка, ни я не имели власти повлиять. У меня возникла гипотеза, что идея пугающего, мешающего шума

*Для того чтобы описать мечтание, требуется достаточно много времени, но ритм анализа не очень хорошо передается моими попытками описать его как линейный процесс. Мысли, чувства и ощущения, входящие в мечтания, могут промелькнуть в несколько мгновений. Следовательно, неправильно думать об использовании аналитиком своих мечтаний как об отражении его отстраненного, самопоглощенного, невнимательного психологического состояния. Наоборот, внимание аналитика к собственному аффективному состоянию, возникающему в контексте аналитической intersубъективности, вносит вклад в чувство интенсивного эмоционального присутствия на сеансе и ощущения, что аналитик находится в резонансе с бессознательными переживаниями пациента в данный момент.

пылесоса могла быть связана с фантазией о шуме, исходящем из спальни родителей пациентки, мешающем шуму полового акта, который был и пустым (вакуум)*, и поглощающим (засасывающим мир внутренних объектов пациентки). Мои гипотезы, касающиеся связи между элементами мечтания и моим переживанием пребывания с пациенткой казались натянутыми и интеллектуализированными. Несмотря на это, мечтание оставило у меня чувство крайней озабоченности и заставило быть бдительными к тому, что мне мешает что-то, происходящее между мной и пациенткой.

В течение нескольких месяцев после описанной сессии я постепенно стал испытывать чувство гордости при мысли, что другие люди могут знать о том, что я аналитик г-жи А. С одной стороны, эта фантазия доставляла мне удовольствие, а с другой — вызвала глубокий стыд (и я сумел почти полностью вытравить ее из сознания). Г-жа А. часто меняла шляпки, пальто и шарфики, и я обнаружил, что мне интересно, что она наденет сегодня на сеанс. Проходя в офис, она оставляла свое пальто на полу возле кушетки (почти у моих ног). Ярлык портного часто оказывался на виду, и я напрягался, чтобы прочесть его (вверх ногами). (Должен подчеркнуть, что противоположные** чувства, которые я не описываю, образовывали молчаливый фон, еще не ставший фокусом для сознательного анализа. Другими словами, эти аспекты анализа еще не стали «аналитическими объектами» [Bion 1962a, Green 1975, Ogden 1994a,b,c], т.е. элементами интерсубъективного опыта, используемого в процессе порождения аналитического смысла. Набор этих мыслей, чувств и ощущений остался частью в основном неосознанного интерсубъективного поля, на котором я в тот момент был скорее участником, чем наблюдателем.)

Часто бывает трудно сказать, что приводит к сдвигу в балансе психологически-межличностных сил, который делает такое фоновое переживание доступным для сознательного использования в качестве аналитических данных. В обсуждаемой части работы это были следующие серии наполненных тревогой мечтаний (в связи с ранее обсуждавшимися мечтаниями), которые позволили аспектам фоновых переживаний превращаться в «аналитические объекты». Первоначально моя тревога была диффузной и сосредоточивалась на мысли о том, что я могу быть забывчивым. Я напрягался, чтобы не забыть послать открытку родственнику, у которого скоро день рождения. Я поменял время встречи с пациенткой и беспокоился, что не приду вовремя. Я заметил, что эти мысли, приходящие во время сеансов с г-жой А., имели отношение к чувству,

*Первая часть слова пылесос, по-английски «vacuum cleaner». — Примеч. переводчика.

**Я использую термин *противоперенос* по отношению к переживаниям аналитика и его вклада в перенос-противоперенос. Как обсуждалось выше, перенос-противоперенос понимается как бессознательная интерсубъективная конструкция, переживаемая отдельно и индивидуально аналитиком и анализируемым. Я понимаю перенос и противоперенос не как отдельные психологические сущности, возникающие независимо или в качестве реакции друг на друга, но как аспекты единой интерсубъективной целостности (Loewald 1986; Ogden 1994a,b).

что в моем сознании существуют “дыры”. Я гадал, что же это такое, на что я закрываю глаза в своей работе с г-жой А. Тревога теперь была реальной и непосредственной, хотя и неспецифической: ее значение в соотношении с ведущими бессознательными трансферентными тревогами было мне все еще непонятно. Однако произошел сдвиг в качестве моего самосознания в переносе-противопереносе.

В последующие недели анализа моя тревога стала приобретать все большую специфичность. Я стал испытывать тревогу прямо перед сеансами с г-жой А., чувствуя себя очень неловким и скованным. Встреча с ней в приемной ощущалась как начало свидания. Г-жа А., казалось, не испытывала подобной тревоги, если вообще испытывала какую бы то ни было тревогу. Она выглядела все более очаровательной и бойкой в своем поведении, речи, одежде и т.д.

В этот период анализа пациентке приснился следующий сон:

“Пожилой мужчина сидит в своем кабинете, читает. Это похоже на ваш офис, но это не ваш офис. Там темно и как будто сыро и вредно для здоровья. Люди смотрят на него через окно. Я одна из них. Ужасно важно сохранять неподвижность, чтобы меня не поймали. Я боюсь, что описаюсь. Мужчина выглядит как депрессивный, грозный старик. Я думаю, он только изображает, что читает, или заставляет себя читать. У меня возникает чувство, что он пытается сексуально возбудиться с помощью чтения, но у него ничего не выходит. Я не уверена, думала ли я это во сне или когда проснулась, но я чувствовала, что он как будто знает, как ужасно я хочу писать”.

В этот момент мне пришла в голову очень неприятная мысль, что г-жа А. может наблюдать за мной, когда я наблюдаю за ней. (Сон был о возбуждении от тайного наблюдения и от того, что за тобой наблюдают в процессе тайного и возбуждающего наблюдения, и о неясности, кто за кем наблюдает.) Она, должно быть, знала, что я пытаюсь прочесть ярлыки на ее пальто, брошенном к моим ногам. Как давно она это знает? Я почувствовал сильное смущение от мысли, что за мной наблюдают, когда я смотрю. Казалось, что все внезапно и неожиданно перевернулось: то, что было приватным, стало публичным; то, что казалось простым любопытством, стало похотливым интересом. Беспечность пациентки стала всемогущим контролем; то, что чувствовалось как интимность, теперь стало ощущаться как переживание, что меня одурачили.

На мгновение мне показалось, будто для меня была поставлена ловушка и я попался в нее, но я также понимал, что сам был частью этой ловушки. То, что я попался в ловушку, не было для меня самым унижительным. Мое смущение сосредоточилось на идее, что я попался в ловушку очень давно и не осознавал

этого. Я чувствовал, что каждый раз, когда смотрел (теперь это казалось мне вуайеризмом), я сам находился под наблюдением. Мой секрет никогда не был секретом. Кроме того, в этом было сильное ощущение предательства.

Теперь я полностью признался себе, что вначале бессознательно чувствовал гордость, удовольствие и вину из-за своей включенности в эротизированный дуэт с г-жой А.

В момент озарения, который я описываю, я понял, что, играя роль в этой сцене, раньше я чувствовал себя взрослым, теперь я внезапно почувствовал себя маленьким ребенком, который обманывает сам себя. Моя незрелость была демаскирована. Я почувствовал себя вне взрослой сексуальности, с носом, прижатым к стеклу. Во сне это было представлено в образе пациентки, глядящей через окно и испытывающей при этом инфантильную (уринарную) форму сексуального возбуждения.

После этого я смог более откровенно признаваться себе в своих переживаниях в переносе-противопереносе. Кажется, я включился в бессознательную конструкцию, порожденную в анализе, посредством которой пациентка придавала форму важным аспектам мира своих внутренних объектов. Это выглядело так, как будто мое сильное смущение представляло собой отчужденную и спроецированную версию унижения пациентки, обнаруживающей, что она — ребенок, подглядывающий за (деградировавшим) половым актом родителей (который был отчасти эквивалентен “вечеринкам”). (На менее сознательном уровне пациентка чувствовала, что она с возбуждением наблюдает за своим возбуждением.) Я переживал и иллюзию/бред (*illusion/delusion*) участия в половом акте родителей, и унижение от того, что при этом выяснилось, что я *только ребенок*, с возбуждением претендующий на то, чтобы стать частью первичной сцены.

Г-жа А. и я в асимметричном, но общем переживании этой переносно-противопереносной драмы каждый по-своему настаивали, что мы не лишние в этом родительском сношении, а “настоящие” взрослые, участвующие в нем. В этот момент я начал понимать сон пациентки как отражение одного из аспектов мира внутренних объектов г-жи А., который прежде едва осознавал: образ полового сношения во сне был образом мертвого сношения. Старик — одновременно представляющий меня, внутренний мир пациентки и аналитические отношения — был депрессивен и одинок, глубоко погружен в чтение или, возможно, пытался избежать своей депрессии посредством одинокого, пустого сексуального возбуждения.

По мере того как я “выходил” из своего мечтания и последующих мыслей, я попытался снова сосредоточиться на том, что говорит пациентка. Конечно, я

вернулся не в то “место, которое мы покинули”, но в “место”, которое никогда раньше не существовало. Г-жа А. вначале говорила о своем сне, связывая свои постоянные страхи о том, что я болен, с тем, что во сне болезнью была депрессия. Затем она сказала, что сон напомнил ей том, что произошло в приемной перед началом сеанса: она взглянула на меня, чтобы увидеть, не устал ли и не болен ли я — нет ли у меня темных кругов под глазами. Она надеется, что я не заметил, что она “так” смотрела на меня.

Затем пациентка резко сменила тему. Я спросил, не почувствовала ли она тревогу, когда оборвала себя посреди своих наблюдений и чувств по поводу того, что наблюдала в приемной. Пациентка ответила: “Я чувствовала себя не в своей тарелке. Это опасно — так подробно говорить, как я гляжу на вас”. (Мне показалось, что пациентка бессознательно попыталась [тревожным и амбивалентным способом] сказать мне об опасностях возбуждающей драмы наблюдателя и объекта наблюдения, которая разыгрывалась в анализе и была изображена во сне.)

Я сказал, что, на мой взгляд, г-жа А. переживала себя во сне и, возможно, во взаимоотношениях со мной более чем в одном месте в одно и то же время. Хотя отчасти она чувствовала себя одной из тех людей, которые смотрят в окно, мне кажется, что она также идентифицировала себя с грязным стариком в моем офисе и наблюдала за ним, когда он с возбуждением наблюдал за ней. (Общность между стариком и мной во сне была столь явной, что я посчитал необязательным упоминать об этом.)

Я сказал г-же А., что она связала сон с тем, что бросила на меня украдкой взгляд в приемной. Я сказал ей, что, как мне кажется, она уже в течение некоторого времени хочет, чтобы я понял, и боится, что я могу понять важность особого рода тайных взглядов, вызывающих у нее чувство стыда. На мой взгляд, она пыталась показать мне во сне, что есть один аспект в наших отношениях, который включает в себя особого рода возбуждение, связанное с переживанием тайного подглядывания и тем, чтобы быть пойманным в процессе этого возбуждающего подглядывания. (В тот момент я решил более конкретно не говорить об отыгрывании в аналитической ситуации, чтобы не включаться в другую форму садомазохистской активности.) Интерпретация вызвала ошущимое чувство облегчения как у пациентки, так и у меня. После моих комментариев г-жа А. несколько минут помолчала (это был первый период продолжительного молчания на протяжении всего анализа). Пока пациентка молчала, я чувствовал себя так расслабленно, как никогда прежде с г-жой А.

Затем пациентка сказала, что мои слова вызвали у нее чувство, что я “понимаю, но не разоблачаю ее, если это различие имеет смысл”. Она ожидала, что испытает очень болезненное смущение, если я заговорю об этом ее аспекте. Оставшиеся несколько минут до конца сеанса она промолчала.

В начале следующего сеанса г-жа А. сообщила, что прошлой ночью ей снился сон. В нем она была ребенком. Во сне она проснулась и обнаружила, что у нее полиомиелит (болезнь, которой она очень боялась, когда была совсем маленькой). Проснувшись (во сне), она не могла двигать ногами и не чувствовала их. Она была и крайне испугана, и поразительно спокойна. Она представила, что никогда больше не сможет двигать ногами или ощущать их.

Пациентка сказала, что сон кажется ей реакцией на то, что случилось у нас вчера на сеансе. Сон был тихим, так что он напомнил ей о периодах молчания во время нашей встречи. Чувство во сне также было очень странным сочетанием ужаса и облегчения, связанным с тем фактом, что та вещь, которой она боялась больше всего, в конце концов произошла. Я подумал о замечании Винникота (Winnicott 1974) о том, что ужасное событие (страх крушения, разрушения) — это событие, которое уже произошло, но еще не пережито. Кроме того, я подумал, но не сказал, что пациентка начала признавать свою эмоциональную/сенсорную смерть (паралич и потерю ощущений) без ее немедленно погребения под развлекательными историями: тишина на мгновение перестала заполняться шумом. По-видимому, у пациентки стала проявляться рудиментарная способность наблюдать и размышлять о том, что она переживает, т.е. о своем чувстве смерти. Теперь проявился один из ее аспектов (представленный ощущающей/непарализованной частью в ее сне), который мог парадоксальным образом чувствовать смерть другого ее аспекта и переживать ложь (шум) как ложь.

Невозможно в рамках этой главы детально описать события, происходившие в анализе в последующие месяцы и годы. За только что описанным сдвигом в переносе-противопереносе последовало обсуждение центрального места, занимаемого в анализе переживанием пациенткой своего тайного подглядывания за мной сексуально возбуждающим образом и ее фантазии о тайном, возбуждающем, опасном наблюдении меня в процессе моего возбужденного наблюдения за ней. В течение этого периода работы начали постепенно обсуждаться детали отыгрывания во время сеанса (*acting in*) (например, наблюдения пациентки за моим наблюдением за ее одеждой, лежащей у моих ног). Конечно, эти дискуссии проводились так, чтобы не создавать эффекта смущающего/возбуждающего раздевания пациентки, аналитика или анализа. Вместо этого преобладали чувства одиночества и безнадежности пациентки от мысли, сможет ли она когда-нибудь ощущать себя иначе, чем “искусственной” (“*made up person*”).

Г-жа А. начала понимать, насколько бесценны были элементы перверсной защиты для того, чтобы предохранить ее от невыносимого переживания смерти. В ходе анализа пациентка описывала аспекты своей жизни, на которые прежде ссылалась, но которые едва ли существовали в анализе как “аналитические

объекты”, т.е. как события, имевшие значение, которые могли замечаться, рассматриваться и становиться объектом размышления в контексте системы разрабатываемых смыслов. Было бы неточным сказать, что эти восприятия прошедших событий были бессознательными или сознательно скрывались; скорее, эти в основном не проговариваемые аспекты ее жизни (которые будут обсуждаться) ощущались настолько не связанными с развлекающими историями, что “мне никогда не приходило в голову говорить о таких вещах”. (См. Фрейд [Freud 1927], который обсуждает процесс радикальной психической разобщенности, являющейся элементом перверсии. Аналогичная форма расщепления отражалась моими противопереносными переживаниями, что я нахожусь “в темноте”, “двигаюсь вслепую” или у меня в сознании есть “дыры”).

Позже г-жа А. сказала мне, что с детства она чувствовала себя “поглощенной” тем, чтобы заставить людей — мальчиков и девочек, мужчин и женщин — воспринимать ее таинственной и сексуальной. В старших классах для нее стало “настоящей навязчивостью” заставлять мальчиков “преследовать ее”. “Где бы я ни была и что бы ни делала, я краем глаза наблюдала за тем, кто смотрит за мной”.

В подростковом возрасте г-жа А. была крайне промискуинной. В старших классах она думала о себе как о “свободолюбивой бунтарке”, но со временем ей стало неприятно, что ею движет нечто, чего она не может контролировать. Более того, она ни с кем не могла говорить о своем чувстве отсутствия контроля, что заставляло ее чувствовать себя очень одинокой. Г-жа А. пыталась компенсировать свое ощущение изолированности тем, чтобы никогда не быть одной. Она рассказывала о бесконечных ночных разговорах с однокурсниками в колледже, во время которых они засыпали, и пациентка тоже ложилась спать у них на полу.

Во время периода промискуитета и изоляции пациентка была практически не способна говорить сама с собой или с кем-то другим о том, что с ней происходит. То, что могло бы стать мыслью или чувством, переживалось как очень сильное мышечное напряжение в сочетании с разнообразными психосоматическими заболеваниями, включая хроническую аменорею, дерматит и тяжелые головные боли. Г-жа А. была не в состоянии сосредоточиться и могла учиться, только часто списывая на экзаменах или используя работы других студентов. Списывание само по себе было возбуждающим. Г-жа А. испытывала удовольствие, “демонстрируя” своим друзьям, какому риску она подвергалась.

Пациентка сказала, что чувствовала смесь стыда и гордости, рассказывая мне о своих подвигах. Ей было так легко быть отважной, потому что “я действительно не пересрала бы, если бы меня поймали. Что они могли мне сделать?” Слова, выбранные г-жой А., удивили меня, т.к. она никогда ранее не использовала

скатологического языка. Я подумал, что отсутствие тела, нуждающегося в обычных человеческих функциях, таких как дефекация (“не пересрала бы”), давало ей способ избежать эмоциональной и телесной ловушки, в которую она, по собственному ощущению, попала и в которой существовала опасность быть психически убитой. Позже (постепенно, в течение нескольких недель) у меня стало возникать предположение, что г-жа А. косвенно рассказывает мне, что ее вызывающее желание быть живой “вне системы” (выше закона и вне своего тела) долгое время было одним из важных способов, которым она пыталась защитить себя от того, чтобы быть захваченной внутренними жизнями других людей. Я сказал, что, на мой взгляд, она чувствовала себя необыкновенно привилегированной и особенной и в то же самое время чувствовала, что не может “ни кем быть”. Пациентка стала вспоминать глубокую спутанность, которую она чувствовала по поводу того, чье же это было вожделение — подпитывавшее ее желание/потребность присутствовать на вечеринках. Теперь уже казалось невозможным разделить ее собственные желания и желания других людей. Мы стали исследовать, как это выразилось в переносе, включая путаницу в том, чье это было сексуальное возбуждение во сне и в переносно-противопереносных событиях, происходивших в анализе.

При обсуждении всех этих чувств пациентка стала осознавать, как они использовались ею в защитных целях, создавая иллюзию, что власть “делать все что угодно”, которой она желала обладать, отделяла ее от кого бы то ни было. Тревога, ассоциирующаяся с путаницей незнания того, чье же это желание, которое она испытывала, несколько сглаживалась иллюзией, что она “живет в своей отдельной от всех других вселенной”. Г-жа А. пришла к пониманию, что за ее ощущением власти было спрятано бессознательное чувство бессилия (паралича) мысли, чувства и поведения вне рамок ее подвигов, махинаций и манипуляций. Ее мир был миром неререфлективных действий и реакций (actions and reactions). Г-жа А. сказала, что в ее жизни были периоды, особенно на старших курсах колледжа, когда она на короткие мгновения осознавала невероятную странность своей жизни и чувствовала из-за этого ужас и глубокий стыд. Хотя у нее был очень большой сексуальный опыт, секс ей был скучен. Во время полового сношения ей казалось, будто она наблюдает за тем, что происходит, как бывает, когда “смотрят не очень интересную телепередачу”. К г-же А. временами приходило неприятное осознание неживого, нечеловеческого характера этого и других аспектов ее жизни. Однако чувство разочарования, связанное с такими проблесками самосознания, было кратковременным.

Во время той фазы работы, когда развертывалось данное повествование и происходило это понимание, я испытывал все возрастающее ощущение связи и преемственности между содержанием вербальных символизаций г-жи А. и матрицей переноса-противопереноса (Ogden 1991a). Первые годы анализа были ретроспективно отмечены несвязностью манифестного и латентного,

вербального содержания и контекста переживаний. Манифестный и осознаваемый аспект аналитических отношений был практически разобщен с полным проблем, возбуждающим “вторым повествованием”, которое сопротивлялось символизации и поэтому оставалось властной, эротизированной (преимущественно бессознательной) интерсубъективной конструкцией.

ОБСУЖДЕНИЕ

Первое, о чем заявила мне г-жа А., — что ее брак (бессознательно — ее жизнь) был “обманом”. Мне потребовалось много времени, чтобы хоть сколько-нибудь глубоко понять, что она бессознательно пыталась рассказать мне. С самого начала в поведении г-жи А. присутствовала подспудная соблазняющая близость. Кроме того, ее поведение казалось таинственным, и это свойство передавало все то, что не было сказано, что заставляло меня ощущать себя так, будто я нахожусь “в темноте”, возможно, — бессознательно — в затемненной спальне. Ретроспективно мои первоначальные мысли о пациентке и обо мне как о персонажах детективного фильма можно понять как отражение моего бессознательного чувства, что аналитические отношения строятся на фундаменте, состоящем из путанной смеси грандиозных эротизированных фантазий, лукавства, самообмана и фоновой темы перверсной первичной сцены (садомазохистские инцестуозные отношения, описанные в “Чайнатауне”).

Рассказы пациентки о ее детстве (ее истории) я воспринимал не только как интересные, но и как увлекательные. Так пациентка пленялась сама и пленяла меня иллюзией, что она занимает привилегированное положение: выглядит ребенком, но чувствует себя не ребенком в этом тайном мире взрослого сексуального возбуждения и эксгибиционизма. Она наблюдала и участвовала (на расстоянии) в “вечеринках” (которые бессознательно приравнивались к первичной сцене). Пациентка чувствовала, что никакому обыкновенному ребенку не разрешили бы узнать, а тем более видеть, слышать, обонять или трогать эти необыкновенные события. Г-жа А. представляла, что знает важные и пугающие секреты, например, секрет финансового, сексуального, эмоционального банкротства своего отца и то, что некоторым людям удавалось оставаться и мужчинами и женщинами (как это проявлялось в гомосексуальности и трансвестизме, которые она наблюдала и отчетливо помнила).

Менее осознаваемой для пациентки в ее первоначальных рассказах о детстве была центральная роль ее иллюзии о том, что она не “только ребенок”, но яв-

ляется частью взрослого полового акта, в котором она (в идентификации с гомосексуальными и трансвеститскими фигурами) не ограничена тем, что принадлежит к определенному полу и определенному поколению (см. Chasseguet-Swigel 1984).

Г-жа А. воспринимала взрослые отношения/сношения (discourse/intercourse), которые наблюдала и в которых (в фантазии) участвовала, как возбуждающие, в то же время эти половые сношения воспринимались как мертвые. Пациентка бессознательно знала о привычке своих родителей спать раздельно и ощущала пустоту частично наркотизированной, гипоманиакальной, эксгибиционистской сексуальной сцены, которая казалась ей пугающей, отталкивающей, относящейся к другому миру, но все же повторяющейся и скучной. Эта парадоксальная уплощенность “возбуждающего” переживания представляла собой элемент переноса-противопереноса. Пациентка и я пытались замаскировать и оживить постоянное отсутствие спонтанного размышления в анализе с помощью бессознательно эротизированной интеллектуальной изобретательности, например, когда мы называли друг другу имена известных людей или пытались найти “ту самую, точную фразу”.

Мое мечтание об открытии мойки для машин на автостоянке стало важным посредником для переживания элементов переноса-противопереноса, которые присутствовали с самого начала нашей работы, но которым ни г-жа А., ни я не могли придать словесную символическую аналитическую форму. Мое мечтание включало фантазию о громком пылесосе, управляемом дьявольской парой, на которую я никак не могу повлиять. Эта пара как будто действует в сферах, которые находятся выше закона и за пределами досягаемости для слов и человеческих эмоций. В своем мечтании я не обнаруживал в мэрии не только закона, но и просто человеческого присутствия.

Это мечтание стало важным шагом в развитии аналитического процесса, оно дало мне что-то вроде опоры, поскольку, с одной стороны, относилось к чему-то внешнему, а с другой — выражало интерсубъективную конструкцию, в которой я участвовал (перверсный субъект анализа).

Мечтание о “мойке машин”, казалось, не было связано с моим переживанием в переносе-противопереносе, но при этом оно оказало на меня сильное воздействие и заставило быть особенно внимательным к тому, что я переживал с пациенткой. Я стал замечать (со значительной долей стыда), с одной стороны, гордость за то, что я являюсь аналитиком г-жи А. (удовольствие от того, что “нас видят вместе”), и, с другой стороны, удовольствие от наблюдения за ее одеждой, брошенной к моим ногам. В то же время я стал осознавать “дыру” или слепое пятно в своем сознании, заставившую меня еще сильнее чувствовать, что я закрываю глаза на что-то важное в своей роли аналитика г-жи А.

(См. Steiner [1985], где обсуждается значение “поворота слепого глаза” в мифе об Эдипе.)

Сгусток переживаний, описанный мной, привел к преобразованию моей диффузной тревоги в гораздо более определенную и сознательно выражающуюся сексуальную тревогу (ассоциирующуюся с тем, чтобы увидеть и быть увиденным). Я переживал эту тревогу в форме выбивающей меня из колеи (сознательной) фантазии о том, что каждый раз, когда я встречаю г-жу А. в приемной, у нас свидание.

Рассказ пациентки о своем сне про человека, за которым наблюдают, привел к кристаллизации нескольких мощных бессознательных констелляций смысла, которые структурировали переживания переноса-противопереноса. Несмотря на внезапность моего озарения, осознание того, насколько важно переживание тайного наблюдения и тайной наблюдаемости, развивалось у меня уже в течение довольно длительного времени (как это отражалось в моих мечтаниях). Когда пациентка рассказала мне свое сновидение, произошел заметный аффективный сдвиг. То, что я прежде переживал как идеи об эротизированном наблюдении и пребывании под наблюдением, теперь стало детальным, висцеральным знанием о том, что значит быть застигнутым в процессе особого любопытствующего, сексуализированного разглядывания. Как будто маленького ребенка поймали, когда он возбужденно наблюдал за первичной сценой (а в фантазии участвовал в ней). Мое чувство стыда, связанное с этим актом, во многом исходило из ощущения, что раскрылось то, что я самонадеянный, обманывающий себя младенец/ребенок, претендующий на то, чтобы быть взрослым участником первичной сцены.

Обсуждаемое мной переносно-противопереносное переживание было не просто переживанием болезненного разоблачения. Бессознательно оно являлось переживанием возбуждающего искушения наблюдателя и затем выставления наблюдателя в роли исключенного младенца/ребенка. Основой переживания пациентки, что она “застигла наблюдателя на месте преступления”, было защитное отрицание, отщепление и проецирование чувств, что она завидующий, исключенный, любопытный, сексуально возбужденный, самообманывающийся ребенок. Более того, сам по себе факт такого искушения был для нее источником возбуждения, поскольку всегда существовала опасность быть “пойманной на месте преступления” в процессе тайного наблюдения за мной, наблюдающим за ней. Необходимо помнить, что все это происходило в контексте того, что можно было назвать мертвым отношением/сношением (не-саморефлективные “отчет” и “рассказывание истории”, которые были почти полностью лишены спонтанной творческой мысли). В этой связи “возбуждение” возбуждающей/опасной игры, которое я описываю, представляло собой бессознательную попытку создать замену для подлинно творческого отношения/сношения.

Образ из сна пациентки преуменьшал мертвый характер полового сношения: депрессивный старик в темной комнате занимался только чтением и (бессознательно) пытался с помощью сексуального возбуждения отвлечь себя от своей пустоты и депрессии. Возбуждение/опасность во сне (частично переживаемые как ощущение на грани непроизвольного мочеиспускания) заключены в акте тайного наблюдения за мужчиной (его символическим половым сношением) и тайной наблюдаемости в этом акте наблюдения. Интерпретации, которые я предложил в этот момент, навеяны моими переживаниями в перверсном переносе-противопереносе, позволившими мне понять как обнажаемые, так и обнажающие аспекты внутренних объектных отношений, которые так доминировали над жизнью пациентки и жизнью анализа, и сопереживать им.

Затем пациентка начала процесс “рассказывания жизни заново” (Schafer 1994) — не повторный пересказ, а переформулирование прошлого в контексте нового багажа интерсубъективных переживаний, которые возникли в переносе-противопереносе и постепенно стали входить в анализ. Пациентка создавала новое повествование, в котором согласовывались ее прошлое и настоящее и которое было укоренено в менее пугающих, менее тревожащих, менее самообманых переживаниях себя и своих отношений с окружающими. В этот период работы г-жа А. продемонстрировала способность к рефлексивному мышлению. Слова уже больше не были прежде всего средством “создания песни Сирены”, а использовались для участия в аналитическом разговоре/отношении, отмеченном признанием ролей аналитика и анализируемого. Кроме того, пациентка впервые проявила зачатки способности контейнировать свой страх смерти (представленный в ее сне о том, что она парализована и не чувствует своих ног), который она так энергично пыталась замаскировать путем защитной сексуализации. Теперь она могла переносить молчание, не пытаясь немедленно преобразовать его в “шум” от эротизированного, магнетического рассказывания историй.

В то же время необходимо подчеркнуть, что это аналитическое продвижение отражает только начало того, что в конце концов превратилось в более стабильные психологические изменения. Защитная псевдозрелость, вносящая вклад в перверсное возбуждение начальных стадий анализа, сменилась другими формами защиты от чувства униженности, что она “только ребенок” в запутанном/пугающем/возбуждающем/мертвом мире взрослых. Например, когда г-жа А. рассказывала мне о своем чувстве “одержимости” в подростковом и раннем юношеском возрасте, ее перенос (как “целостная ситуация” [Klein 1952; Joseph 1985; Ogden 1991a]) включал в себя тревожную навязчивую фамильярность, пытающуюся отрицать разницу между поколениями и ролями в аналитических отношениях. Более того, пациентка использовала интеллектуализацию, чтобы защитить себя от чувства незнания, от “пребывания в темно-

те". Хотя вновь возникавшие трансферентные тревоги по своему характеру были похожи на те, которые она переживала на ранних стадиях работы, перверсия переноса-противопереноса уже больше не была главным средством коммуникации, защиты и объектных отношений.

Перед завершением клинической части этой главы я хотел бы кратко развить идею, которая имплицитно присутствовала в обсуждении. Элементом техники в данном случае было использование аналитиком своих ненавязчивых, повседневных мыслей, чувств, ощущений фантазий, снов наяву, рассуждений про себя и т.д. для понимания системы интерсубъективно порождаемых смыслов, образующих перенос-противоперенос. Переживание озарения, возникшее в только что описанном фрагменте анализа, было как обескураживающее разоблачение, как внезапный переворот. Характер переживания (т.е. обескураживающее признание прежде бессознательно отщепленного разговора/отношения) отражал природу перверсного процесса и его хрупкое, потенциально взрывоопасное напряжение между честностью и обманом, интимностью и манипуляцией, подлинным и фальшивым. Важно иметь в виду, что когда мечтание помогает понять перенос-противоперенос, это является обычно более "тихим" процессом и не так часто приводит к драматическим переворотам понимания или чувствам такого вызывающего стыд самообмана.

НЕСКОЛЬКО ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОММЕНТАРИЕВ

Сложив вместе понимание аспектов перверсного переноса-противопереноса, которое мы обсуждали выше, и мой опыт анализа сходных переносно-противопереносных отыгрываний при работе с другими пациентами (Ogden 1994b), я хочу предложить свои соображения о структуре этой формы перверсии. Перверсный индивид такого типа переживает чувство внутренней смерти, недостаточно интенсивное чувство своей жизни как человеческого существа (Khan 1979; McDougall 1978, 1986); в то же время у него развивается ряд символических защитных фантазий о том, что жизнь существует в сношении (как сексуальном, так и несексуальном) между родителями и что "единственный способ "приобрести" жизнь — включиться в это сношение (источник жизни), из которого данный человек исключен и "оставлен без жизни" (Britton 1989, Klein, 1926, 1928; Meltzer 1973; O'Shaughnessy 1989). Конечно, в буквальном смысле именно родительское половое сношение является источником жизни пациента, но этот биологический факт для перверсного пациента не становится психологическим фактом.

В то же время эти перверсные пациенты фантазируют/переживают родительское половое сношение (в самом широком смысле этого слова) как пустое событие и представляют, что безжизненность первичной сцены является источником их собственного чувства внутренней смерти. Отчасти эта фантазия основана на собственных завистливых атаках пациента на родительское половое сношение. Она также отражает переживание пациентом (сочетание восприятия и фантазии) пустоты связи между родителями. Это восприятие/фантазия об отсутствии жизни в сердцевине человеческого отношения/сношения оставляет у перверсных индивидов чувство, что нет надежды приобрести чувство жизни их собственного внутреннего мира и отношений с внутренними объектами. Для подобной перверсии специфической является компульсивная эротизация пустоты, ощущаемой в центре того, что должно быть и претендует на то, чтобы быть порождающим союзом между родителями. Возбуждение, порождаемое этой эротизацией, используется в качестве замены ощущения собственной человеческой жизни, так же как и признания человечности других людей. Такая эротическая замена бессознательно переживается как ложь, и другие люди компульсивно включаются в отыгрывание этой сексуализированной лжи.

Бессознательно фантазируемое пустое родительское половое сношение защитно приобретает возбуждающий характер частично путем придания ему опасности. Такие перверсные пациенты постоянно и компульсивно включают других в процесс отыгрывания фантазии о вторжении в половое сношение родителей так, что эти отыгрывания начинают угрожать жизни пациента (McDougall 1986). В то же время существует критически важный акт самообмана, позволяющий пациентам изолировать себя от осознания реальности угрозы, которой они себя подвергают. Индивид обманывает себя и гордится собой, уверенный в том, что способен “подлететь к пламени ближе”, чем кто-либо другой, не причинив себе вреда. Он считает, что у него иммунитет ко всем опасностям и в то же время они его сильно возбуждают. Отчаянная потребность извлечь жизнь из (и ввести жизнь в) пустое родительское половое сношение приводит к тому, что пациент отрицает внешнюю реальность и (бессознательно) претендует на существование вне закона (включая как законы общества, так и законы природы) (Chasseguet-Smirgel 1984). Поскольку психологическая жизнь индивида в некотором смысле уже утрачена (или, точнее, никогда не существовала), мысль о том, что ему нечего терять, имеет реальную основу.

Изложенные комментарии можно кратко резюмировать в форме следующего перечня предположений:

1. При здоровом развитии чувство себя как живого равнозначно порождающему любящему родительскому половому сношению. Из этого сношения возникает чувство жизни, из которого пациент черпает

ощущение витальности и реальности себя и своих мыслей, чувств, ощущений, субъективности, объектных отношений и т.д.

2. Перверсия обсуждаемого нами типа выражается в бесконечном бесплодном усилии извлечь жизнь из первичной сцены, которая переживается как мертвая.
3. Подобная перверсия включает в себя возбуждение, исходящее из циничного ниспровержения (предполагаемой) правды о жизни родительского сношения, чей источник витальности ощущается как недоступный и, возможно, несуществующий. Другими словами, внешне порождающее, любящее родительское половое сношение ощущается как ложь, мистификация. Такие перверсные индивиды интроецируют фантазийное деградирование сношения и впоследствии вовлекают других в компульсивно повторяющееся отыгрывание этой системы внутренних объектных отношений.
4. В этой форме перверсии порождается порочный круг, в котором фантазийное половое сношение родителей описывается как лишенное любви, безжизненное и бесплодное; пациент тщетно пытается оживить его псевдовозбуждением (точнее, пытается создать замену жизни). Поскольку фантазийное половое сношение родителей, из которого перверсный пациент пытается извлечь жизнь, переживается как мертвое, он пытается извлечь жизнь из смерти, правду из лжи. И наоборот, пациент может пытаться использовать ложь как замену для правды/жизни (Chasseguet-Smirgel 1984).
5. Каждый метод — попытка заполнения пустой первичной сцены жизнью (возбуждением и другими суррогатами чувства жизни) — является переживанием “заигрывания со смертью”, искушения судьбы, “полета слишком близко от пламени”.
6. Желание таких перверсных индивидов пополняется и смешивается с желанием других, все глубже заводя их в защитное неправильное опознание и неправильное называние их переживаний, чтобы создать иллюзию самопорождающегося желания (Ogden 1988a).
7. Анализ перверсии, как клинически проиллюстрировано в данной главе, основан на признании (точном назывании) лжи/безжизненности, образующей сердцевину переносно-противопереносного отыгрывания перверсии. Таким образом пациент, возможно, впервые в жизни чувствует включенность в разговор/отношение, переживаемое как живое и реальное.

8. Первоначальные чувства жизни и реальности в анализе возникают из признания безжизненности/лжи переноса-противопереноса, и за ними следует часто пугающее чувство смерти. Это переживание отличается от смерти — лжи/безжизненности, — которая не осознается как ложь и маскируется под правду. Прежде ложь (пустое половое сношение) должна была наполняться фальшивым/перверсным возбуждением в попытке внести туда жизнь и взять ее оттуда. Признание лжи не является переживанием сексуального возбуждения, но делает возможным такое психическое состояние, в котором могут переживаться сексуальная жизнь (в контексте целостных объектных отношений) и творческое мышление и творческий разговор/отношение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

В этой главе я клинически проиллюстрировал то, что анализ перверсий с необходимостью включает развитие бессознательного перверсного переноса-противопереноса, в котором участвуют и аналитик, и анализируемый. Эта интерсубъективная конструкция находится под мощным воздействием перверсной структуры мира бессознательных объектных отношений пациента. Понимание аналитиком перверсного отыгрывания, невольным участником которого он является, отчасти развивается в ходе анализа ненавязчивых повседневных мыслей, чувств, фантазий, снов наяву, рассуждения, ощущений и т.д., которые часто кажутся не имеющими отношения к пациенту. Это понимание используется для интерпретации переноса.

Глава четвертая

ПРИВАТНОСТЬ, МЕЧТАНИЕ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Я считаю это наиважнейшим делом
двоих людей: каждый должен охранять
одинокость другого.

Р.М. Рильке, 1904

Дебюсси считал, что музыка — это пространство между нотами. Нечто похожее можно сказать и о психоанализе. Между нотами произносимых слов, составляющих аналитический диалог, находятся мечтания аналитика и анализируемого. Именно в этом пространстве, занимаемом взаимной игрой мечтаний, можно найти музыку психоанализа. Данная глава представляет собой попытку исследовать некоторые методы (техники), на которые мы, аналитики, полагаемся, чтобы слушать эту музыку.

В этой и следующей главе я попытаюсь описать три отдельных, но взаимосвязанных приложения к психоаналитической технике, которые исходят из понимания взаимоотношений между приватностью, коммуникацией и переживанием “интерсубъективного аналитического третьего” (Ogden 1992a,b, 1994a,b,c,d). Я считаю, что создание аналитического процесса зависит от способности аналитика и анализируемого вступать в диалектическое взаимодействие состояний “мечтания” (Bion 1962a), которые в одно и то же время приватны и бессознательно коммуникативны.

После краткого обсуждения концепции аналитического третьего я собираюсь рассмотреть, какую роль играет использование кушетки как компонент анали-

тической среды. Это приведет нас к обсуждению вопроса о соотношении роли кушетки и частоты встреч.

Кроме того, я выдвину предположение, что “фундаментальное правило” психоанализа, введенное и описанное Фрейдом (1900, 1912, 1913), не способно создать условия, в которых анализируемый (и аналитик) могут порождать мечтания, и часто препятствует созданию аналитического процесса. Мной будет предложено новое понимание фундаментального правила.

В следующей главе я собираюсь заново рассмотреть общепринятые взгляды на работу со снами в анализе и предложу альтернативные подходы, основанные на концепции аналитического процесса как диалектического взаимодействия субъективностей аналитика и анализируемого, приводящих в результате к созданию “интерсубъективного пространства снов”. Сон, который снится в ходе анализа, в некотором смысле является сном аналитического третьего. Я представлю фрагмент аналитической работы, в котором рассматриваю сон как продукт интерсубъективного аналитического пространства снов и соответственно откликаюсь на него.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТРЕТИЙ

В течение последних нескольких лет я развиваю концепцию аналитического процесса, основанную на идее о том, что кроме аналитика и анализируемого существует третий субъект анализа, который я называю “интерсубъективный аналитический третий”, или просто “аналитический третий” (Ogden 1992a,b, 1994a,b,c,d). (См. у Барангера [Baranger 1993] и Грина [Green 1975] сходные концепции аналитической интерсубъективности.) Этот (интерсубъективный) третий субъект анализа находится в диалектическом напряжении с аналитиком и анализируемым как отдельными индивидами, со своими собственными субъективностями. Аналитик и анализируемый участвуют в бессознательной интерсубъективной конструкции (аналитическом третьем), но делают это асимметрично. Специфическое соотношение ролей аналитика и анализируемого структурирует аналитическое взаимодействие, так что это способствует исследованию бессознательного мира внутренних объектов анализируемого. Так происходит потому, что в своей основе аналитическое отношение существует с целью помочь анализируемому добиться психологических изменений, которые бы позволили ему прожить свою жизнь как более полную человеческую жизнь. Исследованию бессознательной жизни анализируемого способствует

также использование аналитиком своего тренинга и опыта, так что его собственное бессознательное становится чувствительным к “дрейфу” (“drift”) (Freud 1923a, p. 139) бессознательного анализируемого.

Переживания пациента и аналитика по отношению к интересубъективному аналитическому третьему являются асимметричными не только в том, какой вклад вносит каждый из них в его создание и развитие. Они асимметричны и в том, что аналитик и анализируемый переживают наличие аналитического третьего в контексте своей собственной индивидуальной системы личности, которая очерчивается и структурируется их собственной формой психологической организации, их собственными слоями и связями личных смыслов, исходящих из целостности их истории и уникального набора жизненного опыта, их собственного способа организации и переживания телесных ощущений и т.д. Если суммировать, то аналитический третий — это не единичное событие, идентично переживаемое двумя людьми; скорее, это совместно, но асимметрично создаваемая и переживаемая система сознательных и бессознательных интересубъективных переживаний, в которых участвуют аналитик и анализируемый.

РОЛЬ КУШЕТКИ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

В этой части обсуждения я сосредоточусь на некоторых технических приложениях концепции аналитического третьего — на таком критическом элементе аналитической рамки, как использование кушетки.

Подходя к вопросу о роли кушетки как аспекта аналитической ситуации, необходимо начать с трудного вопроса о том, каковы главные элементы психоанализа как терапевтического процесса. Ситуация, рамка должна служить процессу, и поэтому, чтобы определить, действительно ли способствует элемент этой ситуации аналитическому процессу, необходимо в общих чертах определить для себя природу этого процесса.

Конечно, тщательное обсуждение основных элементов, образующих психоанализ как терапевтический метод, явно выходит за пределы этой главы. Поэтому я просто собираюсь изложить некоторые свои соображения, которые могут служить отправной точкой для исследования этого вопроса. Я буду основываться на Фрейдовой концепции о существенных элементах, определяющих психоанализ как метод лечения. Фрейд (Freud 1914) утверждал, что “любое

исследование, которое признает эти два факта [перенос и сопротивление] и принимает их в качестве отправной точки в своей работе, имеет право называть себя психоанализом...". Я хотел бы предложить следующее развитие краткого утверждения Фрейда. Возможно, психоанализ нужно рассматривать, не только включая признание переноса и сопротивления, но также и признание природы интерсубъективного поля, в котором порождаются перенос и сопротивление. Я имею в виду прежде всего создание третьего субъекта анализа, через которого феномены переноса и сопротивления обретают на аналитической сцене символическое значение. Эта интерсубъективная конструкция (аналитический третий) порождается путем диалектического взаимодействия индивидуальных субъективностей аналитика и анализируемого в контексте их ролей как аналитика и анализируемого.

Проблема определения роли кушетки как компонента аналитической среды становится тогда проблемой концептуализации роли кушетки в процессе возникновения того психического состояния, в котором этот аналитический третий может породиться, переживаться, развиваться и использоваться аналитиком и анализируемым. Использование переживаний в аналитическом третьем и аналитического третьего включает в себя создание символов в аналитическом диалоге (преимущественно, но не исключительно вербальных символов) для прежде не высказываемых и не мыслимых аспектов мира внутренних объектов анализируемого.

Фрейд (Freud 1913) рассматривал "укладывание пациента на диван, при том, что я сижу позади него вне поля его зрения" как *два* важнейших взаимосвязанных элемента аналитического сеттинга, на которых он "настаивал". И использование пациентом кушетки, и нахождение аналитика "вне поля его зрения" позволяли Фрейду "отдаться потоку своих бессознательных мыслей". Хотя первоначально Фрейд начал применять кушетку как средство, помогающее пациенту сосредоточить свое внимание на самонаблюдении" (Freud 1900), тот акцент, который он делает при обсуждении использования кушетки в своих *"Статьях о технике"* (Freud 1911—1915), не относится к ее роли в облегчении свободных ассоциаций пациента. Скорее, главное внимание Фрейда в этих статьях сосредоточено на том, как использование кушетки обеспечивает аналитику приватность, необходимую для работы: "Я не могу выдержать, когда меня разглядывают, в то время как я слушаю пациента..." (1913). Это высказывание часто рассматривается как выражение одной из личных идиосинкразий Фрейда или даже как проявление его психопатологии. Я считаю, что такое прочтение недооценивает то значение, которое придавал Фрейд необходимости создания в структуре аналитического сеттинга условий, в которых мечтания аналитика могут породиться и использоваться. Фрейд (Freud 1912) настаивал на том, что задача аналитика — "просто слушать". Я считаю что предписание "просто слушать" было в сгущенной форме предложением, чтобы ана-

литик попытался стать настолько бессознательно чувствительным к бессознательному пациента, насколько это возможно, и не увязал в своих сознательных (вторичные процессы) попытках организовать собственные переживания.

Резюмируя, можно сказать: Фрейд (Freud 1913) считал, что использование пациентом кушетки и приватность аналитика в своей позиции “вне поля зрения” за кушеткой являются критическими компонентами поддерживающей структуры, “каркаса” психоанализа. Такая организация помогает обеспечить условия для приватности, в которой аналитик может войти в состояние мечтания, отдавая “поток своих бессознательных мыслей” и делая свое собственное бессознательное чувствительным к бессознательному анализируемому. ИмPLICITно в этом обсуждении присутствует идея, что анализируемый при использовании кушетки также переживает сходную свободу от того, что на него глядят, и легче может отдаться потоку собственных бессознательных мыслей (и, возможно, также и мыслей аналитика).

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ТЕХНИКЕ

Когда в начале анализа я знакомлю пациента с идеей об использовании кушетки, я объясняю, что моя практика состоит в том, что пациент лежит на кушетке, а я сижу в кресле позади кушетки. Это положение обеспечивает мне возможность приватно переживать и думать о том, что происходит, что необходимо для аналитической работы. Пациент также может обнаружить, что такой способ работы позволяет ему переживать собственные чувства и мысли иначе, чем он обычно думает, чувствует и испытывает телесные ощущения. Когда я объясняю необходимость использования исходя из потребности — моей и пациента — в приватной области, в психологическом пространстве (как в буквальном, так и в метафорическом смысле), в котором можно думать и порождать переживания, я таким образом заявляю пациенту о том, как я понимаю аналитический метод и те перекрывающиеся роли, которые мы будем играть.

Как мне кажется, для проведения анализа необходимо, чтобы и аналитику, и анализируемому были доступны состояния мечтаний. Необходимые условия для анализа можно сравнить с требованиями хирурга о стерильном операционном поле. В обоих случаях знаний, опыта, технической искусности недостаточно, если нет необходимого контекста для работы. С моей точки зрения использование кушетки является тем важнейшим условием, которое способствует порождению и использованию мечтания. В то же время использование па-

циентом кушетки (в то время, как аналитик сидит позади него, вне поля зрения) — лишь одно из условий аналитического процесса. Более того, тот факт, что пациент использует кушетку, ни в коем случае не является гарантией того, что аналитический процесс возникнет и будет продуктивно использован (см. Goldberger 1995, обсуждение использования пациентом кушетки как возможности для отыгрывания переноса).

Это не означает, что аналитик должен настаивать (явно или неявно), что каждый его пациент должен всякий раз пользоваться кушеткой (Fenichel 1941; Frank 1995, Jacobson 1995; Lichtenberg 1995). В определенные периоды аналитической работы использование кушетки слишком пугает пациента, чтобы он мог его перенести. В таких обстоятельствах было бы контртерапевтично не признавать и не анализировать тревогу пациента и оказывать на него давление, настаивая на использовании кушетки. Такое поведение аналитика будет, скорее всего, представлять собой противопереносное отыгрывание.

КУШЕТКА В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Опираясь на предшествующее обсуждение использования кушетки как части аналитической ситуации, созданной для того, чтобы было возможно “перекрывающееся состояние мечтания”, я хочу перейти к краткому рассмотрению связанного с этим вопроса: следует ли аналитику использовать кушетку только при работе с пациентами, с которыми он встречается четыре или более раз в неделю? Этот вопрос требует обращения к тому, что мы считаем элементами, определяющими аналитический процесс. Поскольку аналитическая техника должна способствовать аналитическому процессу, необходимо исследовать, способствует ли кушетка возникновению аналитического процесса. Другими словами, связана ли природа аналитического процесса, как мы ее понимаем, со специфической частотой встреч (например, четыре или более встреч в неделю) или аналитический процесс определяется специфическим качеством психологически-межличностного опыта, не зависящим от частоты встреч?

Чтобы начать рассмотрение этих взаимосвязанных вопросов, я хочу схематически представить ряд соображений, относящихся к моей концепции природы аналитического процесса. Эти мысли в конце концов приведут нас к соотношению использования кушетки и частоты встреч.

1. Психоанализ — это психологически-межличностный процесс, требующий условий, в которых аналитик и анализируемый совместно

- (и асимметрично) порождали бы бессознательного третьего субъекта анализа.
2. Анализ бессознательного (переносно-противопереносного) переживания требует как от аналитика, так и от анализируемого чувствительности к состояниям мечтаний, в один контекст с которыми вновь включаются (точнее, заново включаются) бессознательные аспекты этого переживания.
 3. Ассоциативные связи и новые контекстуальные включения между преимущественно бессознательными аспектами переживания требуют, чтобы приватность, способствующая состоянию мечтаний, была доступна как аналитику, так и анализируемому.
 4. Использование пациентом кушетки (когда аналитик сидит позади, вне его поля зрения) обеспечивает условия, при которых аналитик и анализируемый могут обладать приватным пространством, для того чтобы погружаться в собственные состояния мечтаний, которые включают “перекрывающуюся” область. (*“Психотерапия происходит там, где перекрываются две области игры — области игры пациента и терапевта”* [Winnicott 1971a].)
 5. Из этого следует, что использование пациентом кушетки (и приватность аналитика за кушеткой) дает средство, обеспечивающее аналитику и анализируемому доступ к “игровому пространству”, области перекрывающихся состояний мечтания, что является необходимым условием для развития и анализа бессознательного интерсубъективного аналитического третьего (ср. Grotstein 1995).
 6. Как бы иначе мы ни определяли анализ, кажется существенным включить в это определение попытку порождения и переживания бессознательного аналитического третьего и обеспечения состояния мечтания, в результате чего аналитик и анализируемый могут почувствовать “дрейф” (Freud 1923a) этой совместной, но переживаемой индивидуально бессознательной конструкции. Аналитическое предприятие наилучшим образом определяется не его формой (включая частоту встреч), но его сутью, включающей в себя анализ переноса-противопереноса (в том числе тревог/защит), в том виде, в каком эти феномены переживаются и интерпретируются аналитическим третьим.

Согласно моему опыту, обычно увеличение частоты сеансов в неделю повышает способность аналитика и анализируемого порождать перекрывающиеся со-

стояния мечтания. На мой взгляд, не имеет смысла отвечать на уступку в одном из условий, в которых проводится анализ, уступкой в другом условии, ведущей к возникновению аналитического процесса. Мне особенно трудно понять логику, лежащую в основе решения работать с пациентом лицом к лицу, поскольку условия, ведущие к возникновению аналитического процесса, уже ухудшены в результате ограничения частоты встреч. В результате, если только нет убедительных причин отказаться от кушетки в конкретном случае, я провожу всю аналитическую работу с пациентом, используя кушетку, независимо от того, сколько раз в неделю я встречаюсь с пациентом*.

ПЕРЕСМОТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРАВИЛА

Хотя термин “фундаментальное правило” не вводился Фрейдом вплоть до 1912 г., эта концепция уже составляла основу размышлений Фрейда об аналитической технике в “Толковании сновидений” (Freud 1900). В 1913 г. Фрейд в наиболее развернутой форме высказался о “фундаментальном правиле психоаналитической техники, которое пациент должен соблюдать”: “Об этом нужно сказать ему [анализируемому] в самом начале: “Еще один момент перед началом. То, что вы мне говорите, должно в некотором смысле отличаться от обычной беседы... У вас будет искушение сказать себе, что та или иная мысль здесь неуместна, или совсем неважна, или бессмысленна, так что нет необходимости ее высказывать. Вы никогда не должны поддаваться подобной критике — наоборот, вы именно должны сказать об этом, *потому что* вам этого не хочется... Так что говорите все, что приходит вам в голову... Наконец, не забывайте, что вы обещали быть абсолютно честным и никогда не пропускать ничего, если по той или иной причине об этом неприятно говорить”.

Недавний обзор литературы (Lichtenberg and Galler 1987) констатирует, что “очень мало статей посвящено теме модификации... фундаментального правила, и лишь немногие публикации касаются этого мимоходом”. В более подробном комментарии по поводу фундаментального правила Энчегойен (Encheoeyen 1991) говорит: “Могут возникнуть особые обстоятельства, в которых можно рекомендовать не следовать по обычному пути, что ни коем случае не означает, что мы уклоняемся от [фундаментального] правила”.

*Я использую аналитическую технику для генерирования аналитического процесса (например, использую мечтания, чтобы понять свои переживания в переносе-противопереносе и интерпретировать ведущую переносно-противопереносную тревогу) независимо от количества сеансов в неделю. Например, я ничуть не более полагаюсь на внушение, увещевание, одобрение и т.п. при работе с пациентами один или два раза в неделю, чем при работе с пациентами четыре, пять или шесть раз в неделю.

Существуют несколько аспектов вопроса о фундаментальном правиле, к которым я хочу обратиться. Мне кажется, что любое рассмотрение роли “фундаментального правила” должно начинаться с установления связи между этим аспектом техники и нашей концепцией аналитического процесса как целого, при том, что *техника должна обеспечивать этот процесс*. В широком смысле, психоанализ можно описать как психологически-межличностный процесс, направленный на повышение способности анализируемого жить полной жизнью. В развитие этой концепции анализа внесли значительный вклад многие аналитики, однако Винникотт является, возможно, главным архитектором современной концепции психоанализа, в которой центральная задача аналитического процесса была расширена по сравнению с задачей превращения бессознательного в сознательное (на языке топографической модели) или превращения Ид в Эго (на языке структурной модели). Центральной задачей аналитического процесса, согласно Винникотту (Winnicott 1971b), является увеличение способности аналитика и анализируемого к созданию “места для жизни” в той области переживаний, которая лежит между реальностью и фантазией.

Психоаналитический процесс, как его понимает Винникотт, требует, чтобы аналитическая техника полностью учитывала важность плодотворного напряжения между приватностью и готовностью к межличностным отношениям: *“Хотя здоровые личности общаются и наслаждаются общением, так же справедлив и другой факт, что каждый индивид является изолированным, постоянно не общающимся, постоянно неизвестным, в действительности не найденным... В центре каждого человека есть несообщаемый, непередаваемый элемент, и он является священным и наиболее охраняемым”* (Winnicott 1963, p.167).

На основе этой концепции полноценной человеческой жизни Винникотт делает следующее замечание о психоанализе как теории (хотя очевидны следствия этого замечания и для аналитической техники): *“Мы можем понять ненависть, которую люди питают к психоанализу, глубоко проникшему в личность человека, поскольку он создает угрозу человеческому индивиду в его потребности быть тайно изолированным”*. Чуть дальше он добавляет: *“Мы должны спросить себя, позволяет ли пациенту наша техника сообщить нам, что он с нами не общается?”*. Именно этот вопрос стал для меня последней каплей, которая привела меня к пересмотру фундаментального правила.

В предыдущих работах (Ogden 1989a,b, 1991b) я обсуждал собственную концепцию о роли личной изоляции для защиты индивида от постоянного напряжения, которое является неизбежным компонентом жизни в непредсказуемой матрице человеческих объектных отношений (1992). Я подчеркивал роль в поддержании жизни тех форм опыта, в которых доминируют ощущения (“аутистически-прилегающие” [1989a,b]), для создания временной приоста-

новки отношений как с матерью/аналитиком как объектом, так и с матерью-аналитиком как средой. Руководствуясь своими взглядами на центральную роль приватности/личной изоляции в здоровых человеческих переживаниях, я в собственной практике анализа не требую от пациентов, чтобы они пытались сказать все, что им приходит в голову, независимо от того, что это может показаться “нелогичным, смущающим, банальным или неуместным” (Greenson 1971). Я не думаю также, что необходимо “смягчать” фундаментальное правило замечаниями типа “Я понимаю, что задача говорить все, что приходит в голову, является трудной (или невозможной)”.

Вместо этого я просто, не облекая это в слова, веду себя на первых встречах так, что приглашаю пациента начать анализ и даю ему представление о том, что это значит — проходить анализ (Ogden 1989b). В начале первой встречи я могу ничего не говорить или спросить пациента: “С чего мы начнем?” Я считаю своей задачей познакомить пациента на первой встрече (и на любых последующих встречах) с природой аналитического диалога (характеризующегося сочетанием качеств, с которыми анализируемый еще нигде не встречался, поскольку аналитический диалог отличается от любой другой формы человеческого разговора/отношений). Я пытаюсь сделать это таким способом, который не заявлял бы о себе как о “технике” (т.е. в застывшей, предписанной форме). Существует опасность, что в нынешней аналитической практике фундаментальное правило станет застывшим предписанием и для аналитика, и для анализируемого. К нему часто относятся как к статичной, непроверяемой, фиксированной точке аналитического ландшафта, несущей на себе окаменевшую печать многократного употребления Фрейдом (Freud 1913) слов “должен”, “настаивать” и его описания того, как анализируемого знакомят с фундаментальным правилом.

Мне кажется, что принуждение пациента говорить все, что приходит в голову, противоречит усилиям по порождению аналитического процесса. Принуждение противоречит моей концепции аналитического опыта, основанного на диалектической взаимной игре способностей аналитика и анализируемого к мечтаниям (Ogden 1994a,b). Пациенту важно знать, что он может свободно молчать, так же как и свободно говорить. Предпочитать слова молчанию, раскрытие — приватности, общение — не-общению кажется таким же неаналитичным, как предпочтение позитивного переноса негативному, благодарности — зависти, любви — ненависти, депрессивного способа порождения переживаний — параноидно-шизоидному и аутистически-прилегающему способам порождения переживаний (Ogden 1986, 1988b).

Это та точка, в которой данная диалектика (например, диалектическое напряжение между любовью и ненавистью, раскрытием и приватностью, общением и не-общением) “схлопывается” в том или ином “направлении” (например, при

переоценке раскрытия происходит приравнивание приватности и сопротивления) и индивид (или аналитическая пара) вступает в область психопатологии. С этой точки зрения, психопатология заключается в разнообразных формах неспособности индивида (или аналитической пары) жить в процессе порождения и сохранения этих диалектических напряжений и создании вместо этого суррогатов переживания жизни, например, в форме перверсного удовольствия, маниакального возбуждения, “как бы” конструкций и т.д. Мне кажется, что строить аналитическое предприятие, следуя явному (или неявному) идеалу, олицетворяющему собой “схлопывание” этого диалектического напряжения между общением и не-общением в точку самораскрытия — значит приглашать пациента к патологическим взаимоотношениям. Исходом этого часто бывает ятрогенное заболевание, в котором способность к мечтаниям парализуется или прячется, что существенно снижает вероятность того, что когда-либо начнется подлинный аналитический процесс.

Здесь я хочу привести короткий клинический пример того, как “схлопывается” диалектика приватности и общения, что в результате приводит к переживанию психологической смерти.

Д-р Е. обратился ко мне за супервизией: он уже несколько лет проводил анализ пациентки, и работа вызывала у него ощущение застоя. Аналитик чувствовал, что пациентка, г-жа J., угнетала его, хотя он утверждал, что она ему очень нравится. Д-ру Е. часто хотелось сократить частоту сеансов с пяти раз в неделю до двух или трех или вообще завершить анализ. После продолжительной консультации я попросил д-ра Е. представить записи нескольких сеансов, включая детальный отчет о его противопереносных реакциях на пациентку.

Д-р Е. описал, как пациентка заполняет часы явно интроспективным разговором, который, “кажется, никуда не ведет”. Он сказал, что часто борется с желанием заснуть. И добавил, что его чувства от анализа были бы неполными, если бы он не упомянул о том, что временами чувствует себя на сеансах с этой пациенткой болезненно неловко. Г-жа J. может быть очень резкой в своей “всегда наблюдательной” критике его вкуса в одежде, легких изменений веса, манеры себя вести, оформления офиса и т.д. Такие замечания пациентка делала, предварительно извинившись и всегда предваряла вступлением: “Боюсь, что оскорблю или обижу вас, если скажу вам то, что думаю”.

В одном из немногих снов, рассказанных анализируемой, она находится в общественном месте, ей необходимо принять душ, но ни на одной из кабинок нет занавесок. Там есть скромная незаметная

дверь, похожая на дверь ванной, которая ведет в симпатичную квартиру, оформленную в любимых тонах пациентки — темно-красных и коричневых. Г-жа J. сказала, что у нее нет мыслей по поводу этого сна. Я поинтересовался, не отражает ли сон пациентки болезненное, но при этом невысказанное чувство, что в переносе-противопереносе не хватает приватности. “Скрытная” дверь ведет в жилое пространство (пространство, в котором пациентка может жить своей частной жизнью). Это место, отражающее ее собственный стиль. Я сказал, что темно-красный и коричневый цвета, по-видимому, подразумевают сексуальную витальность как часть того, что представляется и переживается пациенткой во сне и, возможно, желается ею в переносе.

Обсуждая сновидение, я спросил д-ра E., инструктировал ли он г-жу J., что ее задача состоит в том, чтобы говорить все, что приходит в голову. Он сказал, что говорил об этом пациентке в начале анализа (семь лет назад), но с тех пор ни один из них не упоминал об этой инструкции.

Мы с д-ром E. предположили, что его ощущение себя жертвой мучающего и назойливого разглядывания и обнажения со стороны г-жи J. может отражать что-то из спроецированных переживаний пациентки о том, как по-садистски грабят ее собственный внутренний мир. Вполне возможно, что это фантазийное разрушительное разграбление происходило потому, что и аналитик, и анализируемая подчинились воображаемому авторитету, “фундаментальному правилу” и всему, что оно символизировало для д-ра E. и пациентки. (Конечно, ход анализа не определяет один какой-то фактор, такой как инструктирование пациентки говорить все, что приходит в голову. В обсуждаемом нами случае инструкции аналитика по поводу фундаментального правила были проявлением подспудной интерсубъективной конструкции, в которой оказались аналитик и анализируемая.)

Тщательное обсуждение этого аспекта переноса-противопереноса происходило в течение последующих месяцев супервизии. Одним из элементов обсуждения был рассказ д-ра E. о том, что он воспринимал фундаментальное правило как “данность” отчасти из-за того, что оно служило важным компонентом в контексте его собственного анализа. Д-р E. понял, что его неспособность к саморефлексии этого аспекта аналитического взаимодействия представляет собой отыгрывание им своей досады по поводу этого аспекта его собственных переживаний в анализе, и стал подзревать (на основе даль-

нейших мечтаний, возникавших во время сеансов с г-жой J.), что в этом анализе он в своей фантазии мстительно меняется ролями с пациенткой.

В конце концов д-р Е. сказал пациентке, что недавние события в анализе напоминают ему ее сон об общественной душевой, в которой нет занавесок. Он частично связал этот образ с тем, что когда-то инструктировал ее говорить все, что приходит в голову. Д-р Е. сказал пациентке, что надеется, что анализ приводит к переменам не только в пациентах, но и в нем самом. Одной из таких перемен, произошедшей с ним за последние семь лет, является изменение его точки зрения по поводу того, нужно ли просить пациентов говорить все, что приходит им в голову. Душевные должны иметь занавески, а в анализе должно быть место для приватности. Замечание д-ра Е. вызвало у пациентки сильное облегчение. Позже она говорила, как много для нее значило то, что он разговаривал с ней с такой искренностью. Д-р Е. сказал мне, что не припомнит, чтобы г-жа J. когда-либо выражала ему благодарность так прямо и так трогательно.

ДРУГОЕ ПОНИМАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРАВИЛА

Если бы я сам для себя попытался облечь в слова собственный взгляд на роль анализируемого в контексте проблемы общения и необщения в аналитическом сеттинге, то полагаю, что начал бы с замечания, что и общение, и приватность имеют ценность как измерения человеческого опыта, и каждое из них создает и сохраняет витальность, "чувство реальности" (Winnicott 1963) индивида и аналитического переживания. Если формулировать это как короткое заявление анализируемому, можно сказать так: "Я отношусь к нашим встречам как во времени, когда вы можете говорить то, что хотите, когда хотите сказать, а я могу по-своему реагировать на это. В то же время у нас обоих всегда должно быть место для приватности". Это длинное, довольно неуклюжее высказывание, и я не уверен, что когда-нибудь обращался к анализируемому именно так. Это высказывание звучит для меня несколько ходульно отчасти потому, что является воображаемым замечанием, лишенным личного контекста человеческого взаимодействия. Тем не менее оно в основном отражает то, что я часто говорю себе и о чем при случае говорю с пациентами*.

*Этот взгляд на роль анализируемого отчасти пересекается с короткими версиями фундаментального правила, предложенными Альтманом и Гиллом. Альтман (Altman 1976) предлагает

Нередко бывает, что анализируемый либо читал о “фундаментальном правиле”, либо сам для себя изобрел его версию (например, на основе опыта с родителями, которые требовали от него “рассказывать все”), либо узнал о фундаментальном правиле из предшествующего аналитического опыта. В таких обстоятельствах мне кажется самым главным поговорить с пациентом о *его* представлении о “правилах анализа” относительно свободных ассоциаций, т.е. о *его* правилах, определяющих соотношение между тем, что говорится, и тем, что остается невысказанным, между тем, что *должно* сделаться публичным, а чему *позволено* остаться приватным. Несколько пациентов говорили мне, что на основе своего предшествующего аналитического опыта они пришли к выводу, что все анализы в конце концов выливались в два типа разговора: “один произносимый вслух, а другой тайный — из-за правила о том, чтобы говорить все”. В конце концов, в ходе этих обсуждений я прояснил для себя, что моя собственная концепция анализа не требует, чтобы анализируемый говорил все, что приходит ему в голову. И анализируемый, и я должны всегда обладать свободой общаться с самими собой (как на словах, так и в ощущениях), так же как мы свободны общаться друг с другом.

В тех анализах, которые я проводил сам или супервизировал, у меня не было ощущения, что аналитическое пространство, в котором приватность ценится так же, как и общение, ведет к аналитическим тупикам, когда молчание, например, становится неанализируемой формой сопротивления. Когда возникают продолжительные защитные паузы, я считаю важным признать и проинтерпретировать как потребность пациента в приватности, так и его потребность сделать переносное сообщение через молчание (Coltart 1991). (Переносное общение, которое делается через молчание, является частью переноса как “тотальной ситуации” [Joseph 1985].)

В процессе анализа идея о том, что анализируемый говорит только то, что хочет сказать, и блюдет свою приватность как “святое” (Winnicott 1963), оказывается более сложной, чем казалось вначале, поскольку пациенту, конечно, не всегда понятно, что именно он хочет сказать или даже кто “он”. Анализируемый обнаруживает, что первое лицо единственного числа на самом деле является множественным: существует множество “я”. Кроме того, пациент хочет говорить определенные вещи, в то время как “он” (другой аспект его переживания себя) считает, что “он” не должен говорить эти вещи, которые “он” хочет сказать. Более того, существуют вещи, которые он хотел бы сказать, но не знает, что это. (См. Ogden 1992a,b,d,d, где обсуждается вопрос о диалектически установленном/децентрированном субъекте психоанализа.) Важным до-

говорить с пациентом так, чтобы передать анализируемому: от него “ожидают, что он будет говорить все”. Гилл предлагает говорить анализируемому следующее: “Вы можете говорить все, что хотите”. Эти два высказывания перекрываются с тем, что я сам думаю, однако они делают гораздо меньший акцент на центральной роли приватности в аналитических переживаниях.

стижением в анализе является то, что анализируемый начинает дифференцировать и понимать что-то в отношениях между различными аспектами себя, например, между своим нежеланием говорить какую-то вещь (потому что он хочет “сохранить ее для себя” навсегда) и своей неспособностью сказать что-нибудь, надеясь при этом, что аналитик поможет ему найти путь к тому, чтобы облечь это в слова. Такие конфликты между различными аспектами переживания себя часто остаются неопознанными и, следовательно, неанализируемыми, если анализ проводится под эгидой утверждения аналитиком и использования (отчасти защитного) пациентом фундаментального правила. Подобный тупик может принять форму бессознательной фантазии пациента о том, что анализ требует от пациента подчиниться чему-то вроде “психического потрошения”. Бессознательные объектные отношения, определяющие эту фантазию, остаются не анализируемыми до тех пор, пока аналитик не способен к саморефлексии и навязывает актуальный контекст переживаний, управляемый ожиданием/требованием, чтобы анализируемый “говорил все, что приходит ему в голову”.

ПРО АНАЛИТИКА И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПРАВИЛО

Фрейд (Freud 1923a) считал, что фундаментальное правило свободных ассоциаций аналогично попытке аналитика “отдаться своей собственной бессознательной психической деятельности в состоянии равномерно распределенного внимания”. Аналитик пытается “по возможности избежать рефлексии и построения сознательных ожиданий, и ничего специально не фиксировать в своей памяти из того, что он услышал, и таким способом уловить дрейф бессознательного пациента своим “собственным бессознательным”. “Интерпретативная работа аналитика не проводится согласно строгим правилам и многое оставляет на усмотрение такта и умения врача”. “Или, если говорить только в терминах техники: он [аналитик] должен просто слушать и не беспокоиться по поводу того, чтобы удержать что-то в голове”.

Фрейд, описывая “работу” аналитика, делает акцент не на ведении или обнаружении аналитиком всего (даже для себя), а на создании условий для особого рода восприимчивости и “игры” ума. Фрейд предлагает аналитику попытаться позволить своему бессознательному войти в резонанс с бессознательным пациента. Аналитик “просто слушает”, пытаясь *не* “фиксировать” (не запоминать или понимать слишком много), а “просто” использовать свое состояние бессознательной восприимчивости, чтобы получить ощущение или “уловить дрейф”

бессознательных переживаний пациента. Мне кажется, что психологическое состояние, которое Фрейд здесь описывает как “просто слушание”, — это то же самое психологическое состояние, которое характеризуется отсутствием “памяти и желания” (Bion 1967).

Хотя состояние бессознательной восприимчивости аналитика к бессознательному анализируемому описывается как “такое же отношение” (Freud 1912) к себе (т.е. как аналог требования, накладываемого на пациента фундаментальным правилом), но стремление войти в состояние “равномерно распределенного внимания” (Freud 1912) едва ли представляет собой “такое же отношение”, как требование, чтобы анализируемый говорил все, что приходит ему в голову. Если бы “требование”, налагаемое на пациента (или, лучше сказать, роль, предписываемая пациенту) было действительно комплементарным по своей природе по отношению к роли, которую Фрейд отводил аналитику в процессе создания состояния равномерно распределенного внимания, я думаю, что аналитическая пара могла бы легче войти в тот тип взаимоотношений, в котором и аналитик и анализируемый могут “поймать дрейф”, ощутить “течение” бессознательных конструкций, порождаемых в анализе. В этих условиях аналитик и анализируемый находятся в позиции, когда они “обращают собственное бессознательное как воспринимающий орган к передающему бессознательному” (Freud 1912) другого и к совместно, хотя и асимметрично создаваемым конструкциям “аналитического третьего”.

Глава пятая

АССОЦИИ К СНОВИДЕНИЯМ

Как и при обсуждении вопросов об использовании кушетки и “фундаментальном правиле” в предыдущей главе, я хочу выбрать в качестве отправной точки для размышлений об анализе сновидений ту же идею, что аналитическая техника должна служить аналитическому процессу. Я полагаю, что главной частью аналитического процесса является взаимная игра сознательных и бессознательных состояний “мечтания” (Bion 1962a,b) аналитика и анализируемого, ведущая к созданию третьего субъекта анализа (“интерсубъективного аналитического третьего”) (Ogden 1994a,d). Более того, аналитическая техника играет решающую роль в обеспечении приватности анализируемого и аналитика и имеет ключевое значение для развития аналитического процесса; такую же роль аналитическая техника играет при создании и поддержании условий для сознательного и бессознательного общения между аналитиком и анализируемым. В рамках этой концепции аналитического процесса я собираюсь в данной главе рассмотреть аспекты аналитической техники, относящиеся к анализу сновидений.

На протяжении почти столетия, начиная с опыта Фрейда (Freud 1900) по анализу собственных сновидений, среди аналитиков существовало общее согласие в том, что аналитическое понимание сновидений, возникающих в ходе анализа, определяется сплетением ассоциаций и связей, которые пациент порождает в качестве реакции на свои сны (см. напр., Altman 1975, Bonime 1962, Etchegoyen 1991, French and Fromm 1964, Garma 1966, Gray 1992, Rangell 1987, Segal 1991, and Sharpe 1937). Сновидения (в частности, их латентное содержание) рассматриваются как бессознательные конструкции пациента, и роль аналитика уподобляется роли искусного акушера, принимающего ребенка так ненавязчиво и бережно, как он может (S. Lustman 1969 — личное сообщение).

Аналитик должен предоставить пациенту возможность свободно ассоциировать по поводу своего сна. В отсутствие ассоциаций пациента аналитику остается интерпретировать только манифестное содержание сновидения, предлагая поверхностные (и, вероятно, в основном неточные) формы интерпретаций (Atman 1975 Garma 1966, Greenson 1967, Sharpe 1937). Принимая во внимание важность ассоциаций пациента по поводу своего сновидения, аналитик не должен вмешиваться в ассоциативный процесс пациента, делая “преждевременные” интерпретации, основанные на своих собственных ассоциациях к сновидению. Если у пациента не возникают ассоциации, на первый план выступает роль аналитика, связанная с исследованием бессознательной тревоги/сопротивления анализируемого по поводу предоставления ассоциативных связей, необходимых для понимания и интерпретации его сновидения (включая его переносное значение) (Gray 1994).

Предложение аналитиком интерпретаций, касающихся сновидения, в отсутствие ассоциаций пациента (без исследования тревоги пациента, связанной с ассоциациями по поводу сновидения) будет рассматриваться многими, если не большинством аналитиков, в качестве разновидности “дикого анализа”. В конце концов, аналитик в таких условиях просто предлагает свои собственные ассоциации. Если аналитик хочет избежать “дикого анализа”, в фокусе его аналитической антрепризы должно находиться бессознательное пациента, а не его собственное.

То, что я сейчас представил (в очень схематической форме) как “общепринятый” взгляд на основы техники анализа сновидений, представляет собой, как мне кажется, фундаментальный и неотъемлемый компонент понимания анализа сновидений. Однако в последние годы стало ясно, что этот взгляд важно дополнить точкой зрения, включающей анализ сновидений в контекст понимания сновидения. Ниже я попытаюсь рассмотреть, какое следствие имеет идея о том, что сон, который снится в ходе анализа, представляет собой проявление интерсубъективного аналитического третьего. Держа в уме эту точку зрения, я собираюсь предложить новый, пересмотренный взгляд на аспекты техники анализа сновидений.

С точки зрения концепции интерсубъективного аналитического третьего анализ сновидений в целом и обеспечение ассоциаций к сновидению в частности является гораздо более интересным и сложным делом, чем считалось прежде*. Можно обоснованно спросить, действительно ли по-прежнему самоочевидно, что так же, как и раньше, ассоциации пациента к его сновидению должны

*Исаковер (Isakower 1938) и Левин (Lewin 1950) были пионерами в исследовании использования аналитиком собственного сознания как “аналитического инструмента” (Isakower 1963), в частности, по отношению к использованию этой функции для понимания бессознательного значения сновидений пациента и других феноменов, связанных со сном.

обладать привилегией по отношению к сознательным реакциям аналитика на сновидение. Имеем ли мы в виду то же самое, что и десять или двадцать лет назад, говоря о сновидении пациента как о “его” сновидении? Возможно, точнее было бы сказать, что сновидение пациента порождается в контексте анализа (с его собственной историей), включающем в себя взаимодействие аналитика, анализируемого и аналитического третьего, и, следовательно, сновидение не может больше рассматриваться как просто “сновидение пациента”. Иными словами, имеет ли смысл и дальше говорить о пациенте как единственном сновидце или всегда существуют несколько аналитических субъектов (сновидцев), находящихся в диалектическом напряжении, каждый из которых вносит свой вклад во все аналитические конструкции, даже в такое, казалось бы, личное психическое событие (продукт работы индивидуального бессознательного), как сновидение или ряд ассоциаций к сновидению?*

С точки зрения, излагаемой в этой и предыдущих публикациях (Ogden 1992a,b, 199a,b,c), можно сказать, что когда пациент начинает анализ, он в каком-то смысле “теряет разум” (в процессе создания собственного разума). Иными словами, психологическое пространство, в котором происходят его мышление, чувства, телесные переживания и сновидения, уже не совпадает целиком с его “собственным разумом” (местом его психологической жизни и в некотором смысле “местом, где он живет” [Winnicott 1971c] и видит сны), становится все более “локализованным” (в смысле чувства) в пространстве между аналитиком и анализируемым (Ogden 1992b). Это “чувствуемое место” ни в коем случае не ограничено кабинетом аналитика. Это разум (точнее, душа-тело [psychesoma]), который в каком-то смысле является созданием двух людей, но при этом является душой/телом индивида. (Говоря словами из стихотворения Роберта Дункана [Duncan 1960], это место, “которое не мое, но сделалось моим местом, таким близким сердцу”).

Поскольку аналитик и анализируемый порождают третьего субъекта, переживание сновидения анализируемого больше не может адекватно описываться как существующее исключительно в психическом пространстве анализируемого. Сновидение, создающееся в процессе анализа, — это сновидение, возникающее в “аналитическом сновидческом пространстве” и, следовательно, должно пониматься как сновидение аналитического третьего. Вновь мы не должны настаивать на однозначном ответе на вопрос: “Является ли сновидение сновидением анализируемого, сновидением аналитика или сновидением аналитического третьего?” Все три должны находиться в неразрешенном напряжении друг с другом.

*Гротштейн (Grotstein 1979) и Сандлер (Sandler 1976) обсуждают взаимодействие множественных бессознательных *интраспсихических* аспектов системы личности в процессе видения сна и его понимания. Они, однако, не обращаются к интерсубъективному измерению сновидения, являющемуся главным в данной дискуссии. Блехнер (Blechner 1995) обсуждает использование аналитиком сновидений пациента для понимания собственных бессознательных тревог, что облегчает затем понимание переноса.

Как переживание, порождаемое в (интерсубъективном) аналитическом пространстве сновидения, сновидение, которое снится в ходе анализа, может пониматься как “совместная конструкция” (в асимметричном смысле, описанном в главах 2 и 4), возникающая из взаимодействия бессознательного аналитика и бессознательного анализируемого. Поскольку ассоциации аналитика к сновидному переживанию исходят из переживания в аналитическом третьем и аналитического третьего, они являются не менее важным источником аналитического смысла, касающегося сновидений, чем ассоциации пациента*.

Далее в короткой клинической виньетке я постараюсь передать фрагмент аналитического опыта, в котором сновидение пациента рассматривалось аналитической парой как порожденное в интерсубъективном аналитическом сновидном пространстве.

Г-н G. был довольно шизоидным мужчиной сорока с небольшим лет, аналитическая работа с ним продолжалась почти восемь лет. Пациент был очень хорошо начитан в широком круге вопросов, включая психоанализ. Г-н G. начал сеанс, о котором пойдет речь, с рассказа о том, как сновидение разбудило его среди ночи. Пробудившись, он еще некоторое время чувствовал себя потрясенным. Во сне его мать, будучи в своем реальном возрасте (семидесяти с небольшим лет), была беременна. И она, и старшая сестра пациента хорошо знали об этом и вели себя так, как будто в этом не было ничего необычного. Их поведение и манера себя вести были так причудливы, что ситуация казалась нереальной даже в сновидении. Мать и сестра пациента деловито и возбужденно строили планы по поводу повседневных практических дел, связанных с беременностью и предстоящими родами. Пациент во сне чувствовал себя ошарашенным и со злостью говорил матери и сестре, что не может поверить, какую глупость сделала его мать, и еще больше поражается, как они могут радоваться этому. Он сказал мне, что во сне мучительно фрустрирующим было то, что он не мог найти слов, которые бы хоть как-то повлияли на мать.

Когда г-н G. рассказывал мне свой сон, было очевидно, насколько болезненно изолированным он чувствовал себя, описывая то, что по моему предположению является сегодняшней версией его давнего переживания, когда он узнал, что мать беременна его младшим бра-

*Так же как сны анализируемого порождаются в контексте аналитического сновидного пространства, сны аналитика тоже должны рассматриваться как источники аналитического смысла по отношению к ведущей переносной-противопереносной тревоге в данный момент анализа (Peltz 1996, Whitman et al. 1969, Winnicott 1947, Zweibel 1985). Я обнаружил, что особое значение имеет ситуация, если сон аналитика вспоминается в ходе аналитического сеанса (при этом не имеет значения, представлен или нет, пациент в манифестном содержании сновидения). За пределами данной дискуссии находится исследование и клиническое иллюстрирование использования аналитиком собственных снов при анализе переноса-противопереноса.

том. Пациенту было четырнадцать месяцев, когда родился его брат, и следовательно, он был действительно бессловесным (младенец (infant (франц.) — не говорящий) во время беременности матери. Я представил, что возбуждение матери по поводу беременности, поглощенность беременностью, рождением и младенчеством брата пациента, были дополнительной травмой пациента, свидетельствующей, что его права попораны “тайным” альянсом матери с отцом в этом совершенно неожиданном событии. Они даже не посоветовались с ним в этом важном вопросе! Я подумал про себя, что отец г-на G. был удален из манифестного содержания сновидения и заменен сестрой, чтобы уменьшить нарциссическую рану от признания разницы между поколениями и родительского полового сношения.

У пациента в сновидении сердце стучало в висках, что было совсем нехарактерно для этого жестко контролирующего себя человека, очень мало способного к переживанию собственных чувств. Однако в ходе предыдущих месяцев анализа пациент впервые начал чувствовать тепло и доверие ко мне и говорить об этих чувствах, хотя крайне робко и косвенно. Когда г-н G. пересказывал сон, я испытал ряд чувств, включая ощущение отстраненности — отразившееся в моем “переводе” сна в уме на язык раннего развития и абстрактных теоретических терминов [т.е. “разницу поколений”], а также легкое ощущение скуки. Кроме того, я почувствовал разочарование в себе, потому что сон не очень сильно меня затронул, хотя он был явно очень важен для г-на G. и являлся для него новым переживанием (в том смысле, что он довольно отчетливо воскрешал интенсивные детские чувства злости, исключенности и беспомощности). Мне пришла в голову мысль, что я пресытился, поскольку занимаюсь аналитической работой слишком долго. Я стал довольно обсессивно складывать в уме годы, когда практиковал в различных местах, и осознал, что работаю в своем нынешнем офисе более пятнадцати лет. Я оглядел свой кабинет и поразился тяжеловесности его внутреннего убранства — громоздкая викторианская лепнина (детали которой я внимательно разглядывал в течение многих лет), однообразные унылые шторы, большие деревянные ставни с жалюзи, приклеившимися к своему месту из-за многочисленных слоев краски. Идея поменять офис много раз приходила мне в голову все эти годы, но мысль об этом в тот момент вызвала у меня чувство физического утомления.

Г-н G. несколько раз говорил мне, что испытывал жалость к своему брату, которому, он чувствовал, так и не нашлось места в семье.

Однако только сам испытал безразличие к “лучшему”, предложенное мне г-ном G. (в своем превосходном образце эмоционально насыщенного эдипова сновидения), я полностью почувствовал, против чего г-н G. так неистово, бессловесно и бессильно протестовал в этом сне. Это было не просто протестом старшего брата, бунтующего против мысли о необходимости разделять внимание и любовь своей матери с новорожденным младенцем или против мысли, что этот младенец произведен на свет в результате сексуального союза и зрелого эмоционального и сексуального альянса его родителей, из которого он исключен и не имеет права голоса. Сейчас я живо и непосредственно хотел, чтобы это был протест г-на G. против безразличия к его попыткам бороться с тем, как она/я чувствовали себя безжизненными, деревянными, тупыми, неподвижными в наших действиях в качестве матери/аналитика.

Я сказал г-ну G., что его описание своей неспособности быть услышанным во сне вызывает у меня вопрос, не чувствует ли он, что я так же туп по отношению к нему сегодня или на последних занятиях. (Если бы у меня было более специфическое ощущение или хотя бы предположение, на что пациент может реагировать, я бы включил его в свой комментарий.)

Г-н G. сказал без паузы: “Ничего необычного не произошло. Вы вели себя по отношению ко мне как обычно”. Я сказал, что хотя он явно оценил мое постоянство, однако, произнес “как обычно”, выразил предположение, что чувствует какой-то застой в том, что происходит между нами. Г-н G. ответил, что хотя и не планировал говорить мне об этом до своего возвращения (из недельного летнего отпуска, который должен был начаться через десять дней), он думает о завершении анализа в конце года. У меня возник сильный импульс придумать довод (выглядящий как интерпретация), чтобы убедить его отказаться от этой идеи/плана, в котором у меня не было права голоса. Мне пришло в голову, что г-н G. был беременным своим секретом о нежеланном анализе, в то время как я стал его ребенком, лишенным голоса. Однако эта идея показалась мне слишком формальной и только усилила мое смущение, связанное с импульсом предложить псевдоинтерпретацию в попытке удержать г-на G. Фантазийная плоская псевдоинтерпретация вызвала у меня воспоминание о разговоре, состоявшемся у меня был на той неделе с подрядчиком, которого я знал много лет и считал своим другом. Во время встречи с подрядчиком я не мог понять его душевное состояние. В

течение нескольких недель он несколько раз давал обещания выполнить работу и постоянно не сдерживал их. У меня было странное чувство, что его слова не связаны ни с чем, кроме них самих, и в результате я стал задумываться, действительно ли я знаю его. Мысленно возвращаясь к нашему разговору, я начинал все больше тревожиться.

Осознание своих чувств в этом мечтании вызвало у меня подозрение, что г-н G. боится потерять связь, которую он начал чувствовать со мной, и беспокоится, что когда он вернется, все между нами будет иначе. Теперь мне показалось, что г-н G. пытается защитить себя от такого сюрприза (и осознания своих страхов), готовя себя в душе к тому, чтобы покинуть меня (и при этом проецируя на меня свою беспомощность).

Я сказал г-ну G., что когда слушал его, у меня усиливалось чувство, что он испытывает тревогу о том, что что-то случится, пока его не будет, и в результате он возвратится к человеку, которого не знает. Мне интересно, не беспокоится ли он, что по его возвращении он будет чувствовать меня таким нереальным, как была его мать во сне. (Я думал о том, как мать пациента изображала, что она слушает его [что отразилось в его чувствах нереальности во сне], так же как и о своей фантазийной псевдоинтерпретации к своей тревоге, связанной с моими сомнениями и неуверенностью относительно реальности дружбы с подрядчиком в моем мечтании.)

Г-н G. помолчал примерно минуту, а затем сказал: то, что я говорю, правильно. И добавил, что он чувствует и стыд оттого, что ведет себя так по-детски, и радость, что я знаю его так же хорошо, как он думал. В его голосе были и тепло, и дистанция. Меня поразило, как г-т G. в самом утверждении, как он ценит то, что я его понимаю, передавал также (словами “как он думал”) свою продолжающуюся тревогу о том, что я превращусь в другого человека. В ходе последующих сеансов перед отпуском пациента мы продолжили обсуждение его страха, что близость, которую он начал испытывать ко мне, исчезнет без следа, пока его не будет, и что он возвратится к аналитику, которого не знает и который не знает его.

В этом коротком клиническом отчете я попытался передать ощущение интерсубъективного движения, которое происходило в одном из эпизодов аналитической работы, включавшем в себя сновидение и ассоциации к нему. Мое меч-

тание началось с отстраненного, абстрактного, несколько механического “перевода” сновидения в уме, сопровождавшегося чувством скуки. Я испытывал разочарование в себе, чувствуя такую отстраненность от сновидения, которое было наполнено для г-на G. страстями и новизной. Не думаю, что можно хоть сколько-нибудь отчетливо разграничить, где заканчивался сон г-на G. и где начинались мои мечтания.

Моими первоначальными ассоциациями были ассоциации как к сну пациента, так и к моим мечтаниям (которые включали мысли о тяжеловесности моего офиса и моей собственной психической “вязкости” и психической неподвижности.) Мои ассоциации/мечтания стали важной частью основы для интерпретации, касающейся того, что пациент воспринимал меня как недоступно властного по отношению к нему. Формально интерпретация была дана до того, как г-н G. предложил свои собственные ассоциации, но мне не казалось, что я опережаю его или веду в направлении, отражающем мою психологию, отличающуюся от психологии пациента. Когда я делал первоначальную интерпретацию, у меня было только смутное ощущение ведущей переносной-противопереносной тревоги. Однако сама незаконченная интерпретация позволила пациенту косвенно (бессознательно) больше сказать мне о моем состоянии застылости: “Вы кажетесь мне таким, как обычно”. Моя неполная глухота к злости, содержащейся в его комментарии о том, что я такой, “как обычно”, позволила г-ну G. сказать мне о своем намерении завершить анализ в конце года. Осознав свое смущение по поводу фантазии/импульса предложить пациенту псевдоинтерпретацию (отражающую желание “вцепиться” в пациента) и мечтание, включающее тревогу по поводу подлинности моей дружбы с подрядчиком, я сделал более полную интерпретацию. В этой интерпретации я обратился к тому, что расценил как ведущую переносно-противопереносную тревогу: к страху пациента, что по возвращении он обнаружит, что человек, которого он знал как меня, исчезнет, а мое место займет кто-то другой, кто будет выглядеть как я, но будет не таким, как я.

Представленная клиническая виньетка является не только иллюстрацией работы со снами в анализе, но, что не менее важно, представляет собой попытку передать ощущение такого движения, которое образует переживание жизни в аналитическом сеттинге. Возникающее движение между сном и мечтанием, между мечтанием и интерпретацией, между интерпретацией и переживанием в аналитическом третьем и аналитического третьего является для меня живым бьющимся сердцем, вызывающим уникальное ощущение жизни в аналитическом переживании.

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ АСПЕКТОВ ТЕХНИКИ АНАЛИЗА СНОВИДЕНИЙ

Основываясь на излагаемой точке зрения, я больше склонен предлагать интерпретацию или задавать вопрос в ответ на представленное анализируемым сновидение, не “ожидая”* ассоциаций пациента. Я обнаружил, что часто впоследствии мне бывает трудно восстановить в памяти, кто первымотреагировал на сон — пациент или я. Однако я обнаружил также, что обычно реагирую на сон пациента без спешки, давая ему время предложить собственные комментарии, если он этого хочет. Если постоянно не оставлять пациенту времени для реакции на сон еще до вмешательства аналитика, это может привести к такой форме переносно-контрпереносного отыгрывания, при которой пациент будет “поставлять” сны аналитику, а тот будет их поглощать, переваривать и возвращать пациенту свои нарциссические изобретения в форме интерпретаций.

На опыте собственной работы и работы терапевтов и аналитиков, которую я супервизировал, я обнаружил, что потенциал спонтанности и плодотворных мыслей в аналитическом диалоге значительно возрастает, если аналитик и анализируемый освобождаются (точнее, освобождают сами себя и друг друга) от привычки обращаться в первую очередь к ассоциациям пациента к сновидению, а вместо этого относятся к сновидению как к психологическому событию, порождаемому в интерсубъективном аналитическом сновидном пространстве. Когда сон рассматривается как продукт аналитического сновидного пространства, у аналитика и анализируемого есть свобода быть восприимчивыми к бессознательному дрейфу аналитического третьего, как это отражается в их мечтаниях, в их переживаниях “просто слушания”.

Перед тем как завершить обсуждение взаимоотношения сновидений и аналитического третьего, я хотел бы сделать короткое замечание о том, как важно *не понимать* сны. Сновидение (или “сновидная жизнь”) — это специфическая форма человеческого переживания, которая не может быть переведена в линейное, вербально символизированное повествование без потери контакта с *воздействием* самого переживания сновидения, переживания сна — в противоположность значению сна (см. Khan 1976, Pontalis 1977). Поэтому мне кажется особенно важным, что мечтания (аналитика и анализируемого) служат главным психологическим (и психосоматическим) посредником, с помощью которого переживание сновидения перерабатывается в аналитическом сеттин-

*Важно помнить о вневременной природе сновидений и ассоциаций к сновидениям (Freud 1897, 1915, 1920, 1923b). Если аналитик фокусируется на ассоциативном материале, следующим за рассказанным пациентом сном, он может упустить из внимания невербальные ассоциации, которые пациент уже, возможно, продемонстрировал — например, выражением своего лица при виде аналитика в приемной или в форме физических ощущений или телесных движений, возникших при пересказе сна (Boyer 1988).

ге. В мечтаниях аналитика и анализируемого должна присутствовать бессознательная восприимчивость, которая иногда включает “подвиги ассоциаций” (Robert Frost, цит. по Pritchard 1991), в противоположность тем мыслительным процессам, посредством которых сон разбирается, “переводится” (Freud 1913), понимается или даже интерпретируется. “Сновидение само по себе находится за пределами интерпретации” (Khan 1976). Используя мечтание как главную форму или способ “переноса” переживания сна в аналитический сеттинг, аналитик и анализируемый позволяют первичным процессам, дрейфу бессознательного (в противоположность его расшифрованному посланию) служить тем посредником, в котором сновидная жизнь переживается в аналитическом пространстве, и быть важным компонентом контекста, в котором проводится анализ сновидений.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Возвращаясь к началу, как мы неизбежно делаем это в аналитическом мышлении и практике, повторим: *аналитическая техника должна служить аналитическому процессу*. Я считаю центром аналитического процесса диалектическое взаимодействие состояний мечтания аналитика и анализируемого, что в результате приводит к созданию третьего аналитического субъекта. Именно через (асимметричное) переживание аналитического третьего аналитиком и анализируемым происходит понимание и в итоге вербальная символизация “дрейфа” бессознательного мира внутренних объектов анализируемого. Состояние мечтания аналитической пары, которое так необходимо в качестве посредника для создания и переживания аналитического третьего, требует условий приватности, которая должна охраняться аналитической техникой. Аналитическая техника играет решающую роль в обеспечении приватности анализируемого и аналитика и в развитии аналитического процесса, так же как и в создании и сохранении условий для сознательного и бессознательного общения между аналитиком и анализируемым. С позиций такого понимания аналитического процесса я попытался в этой и предыдущей главах пересмотреть аспекты аналитической техники и практики, относящиеся к использованию кушетки, “фундаментальному правилу” и анализу сновидений.

Глава шестая

МЕЧТАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Переживание никогда не бывает ограничено и завершено; это чрезвычайная чувствительность, вроде огромной паучьей паутины из лучших шелковых нитей, натянутой в комнате сознания и улавливающей в свои сети каждую рождающуюся в воздухе частицу. Это сама атмосфера души; а если душа обладает воображением... она вбирает в себя тончайшие намеки жизни...

Генри Джеймс

Я считаю, что мы верно поступаем в психоанализе, оставляя определенный зазор для слов и идей. Это особенно верно в случае *мечтания* (Bion 1962a,b). В этой главе я не буду пытаться дать его определение, а постараюсь обсудить собственный опыт использования состояний мечтания для продвижения аналитического процесса. Таким образом я надеюсь передать ощущение, которое имею в виду под переживанием мечтания в аналитическом сеттинге, и то, как я аналитически использую “перекрывающиеся состояния мечтания” аналитика и анализируемого.

Почти невозможно не упустить мечтание, поскольку это переживание приобретает наиболее приземленные и в то же время наиболее личные черты. Эти черты, особенно вначале, в процессе продвижения к вербальной символизации опыта мечтаний (а мы почти всегда находимся в начале этого процесса), представляют собой мелочи обыденной жизни, повседневные заботы, которые накапливаются в процессе человеческой жизни. Мечтания — “это вещи, сделан-

ные из жизней, и мир, который эти жизни населяет... [Они о] людях — работающих, думающих о разном, влюбляющихся, дремлющих ... [о] привычном мире, его странной обыденности, его обыденной странности..." (Jarvell 1953, говоря о поэзии Фроста). Это наши размышления, сны наяву, фантазии, телесные ощущения, мимолетные восприятия, образы, возникающие в дремотном состоянии (Fraun 1987), мелодии (Boyer 1992) и фразы (Flauney 1979), пронсящиеся у нас в голове и т.д.

Я рассматриваю мечтание одновременно и как личное/приватное событие, и как интересубъективное. Аналитик нечасто говорит с анализируемым непосредственно о своих переживаниях, но, находясь в этих переживаниях, он пытается говорить с анализируемым из того, что он думает и чувствует. То есть он пытается наделить то, что говорит, своим осознанием того, что он переживает, и своей укорененностью в эмоциональном переживании с пациентом.

Для аналитика это непросто — пытаться использовать опыт своих мечтаний в аналитическом сеттинге. Мечтание является исключительно приватным изменением опыта, включая наиболее повседневные (и тем не менее чрезвычайно важные) аспекты наших жизней. Мысли и чувства, образующие мечтания, редко обсуждаются с коллегами. Пытаться удержать такие мысли, чувства и ощущения в сознании — значит войти в тот тип приватности, на который мы обычно полагаемся как на барьер, отделяющий внутреннее от внешнего, публичное от приватного. В наших попытках аналитического использования своих мечтаний, "я" как не сознающий себя субъект превращается в "меня" — как объект аналитического изучения.

Парадоксально, но насколько бы личными и приватными ни казались аналитику его мечтания, было бы неправильным рассматривать их как его личные создания, поскольку мечтание в то же время является совместно (но асимметрично) создаваемой интересубъективной конструкцией, которую я назвал "интерсубъективным аналитическим третьим" (Ogden 1994a,b,c,d). Понимая мечтание и как индивидуальное психическое явление и как бессознательную интересубъективную конструкцию, я полагаюсь на диалектическую концепцию аналитического взаимодействия. Аналитик и анализируемый совместно вносят вклад в бессознательную интересубъективность и совместно участвуют в ней. Перефразируя и развивая Винникота (Winnicott 1960), можно сказать, что не существует такой вещи, как анализируемый без аналитика; в то же время аналитик и анализируемый — это отдельные индивиды, каждый со своей собственной душой, телом, историей и т.д. Этот парадокс нужно "принимать, терпеть и уважать ... поскольку он не должен быть разрешен" (Winnicott 1971d).

Мечтания аналитика в некотором смысле являются более трудными для аналитического использования, чем сновидения и аналитика и анализируемого,

из-за того, что они не “оформлены” сном и бодрствованием. Обычно мы можем дифференцировать сновидение от других психических явлений, поскольку это переживание происходит в период между засыпанием и пробуждением. Мечтание, наоборот, незаметно просачивается в другие психические состояния. Оно не имеет явно обозначенной отправной точки или точки завершения, отделяющих его, например, от более сфокусированного мышления на уровне первичных процессов, которое может предшествовать ему или следовать за ним.

Переживание мечтания редко, если вообще может быть однозначно переведено в понимание того, что происходит в аналитических взаимоотношениях. Попытка немедленно интерпретативно использовать аффективное или идеаторное содержание аналитических мечтаний обычно ведет к поверхностным интерпретациям, в которых манифестное содержание рассматривается как взаимозаменяемое по отношению к латентному.

Использование аналитиком своих мечтаний требует терпения по отношению к переживаниям, возникающим случайно (*adrift*). Тот факт, что “течение” мечтания унесло аналитика в некое место, имеющее какую-то ценность для аналитического процесса, является обычно ретроспективным открытием и почти всегда неожиданно. Состояние дрейфа (*adrift*) нельзя произвольно прекратить. Аналитик должен быть способен закончить сеанс с чувством, что анализ находится в паузе, в лучшем случае это запятая в предложении. Аналитическое движение можно точнее описать как блуждание “по направлению к” (Coltart 1986, позаимствовано из Йитса), нежели как “прибытие в”. Такой род движения особенно важно выдерживать при обращении с мечтанием. Нельзя переоценивать ни отдельного мечтания, ни группы мечтаний, рассматривая это переживание как “королевскую дорогу” к ведущей переносно-противопереносной тревоге. Нужно дать возможность мечтаниям накапливать смысл без ощущения аналитиком или анализируемым давления, чтобы их немедленно использовать. Какой бы не терпящей отлагательств ни казалась ситуация, важно, чтобы аналитическая пара (по крайней мере, в какой-то степени) сохраняла ощущение, что у них есть “время, которое можно потерять”, что нет необходимости учитывать “ценность” каждого сеанса, каждой недели или каждого месяца, которые они могут провести вместе. Символизация (отчасти вербальная) обычно со временем развивается, если быть терпеливым и не форсировать ее (ср. Green 1987 и Lebovici 1987, в части обсуждения соотношений между мечтанием и вербальной символизацией). Форсированную символизацию почти всегда легко распознать по ее интеллектуализированному, формальному, умышленному характеру.

И наоборот, ни одно мечтание не следует отбрасывать как “собственные мелочи” аналитика, т.е. отражение его собственных неразрешенных конфликтов,

его плохое состояние из-за текущих жизненных событий (сколь бы важными и реальными ни были эти события), его усталость, склонность погрузиться в себя и т.д. Важное событие в жизни аналитика, такое как хроническая болезнь ребенка, вписывается в различные контексты аналитических переживаний, относящихся к различным пациентам, и в результате становится другим “аналитическим объектом” (Bion 1962a, Green 1975) в каждом анализе. Например, работая с одним пациентом, аналитик может быть поглощен своим переживанием сильной беспомощности, вызванной неспособностью облегчить боль ребенку. В то время как с другим пациентом (или в другие моменты сеанса с тем же пациентом) он может быть почти целиком захвачен завистью к друзьям, чьи дети здоровы. Тогда как с третьим пациентом аналитик может быть переполнен ужасной печалью, представляя, как это будет — жить без ребенка.

Эмоциональное выпадение или пробуждение мечтания обычно бывает ненавязчивым и невыраженным, вызывая у аналитика скорее что-то вроде ускользающего беспокойства, нежели ощущение, что он пришел к пониманию. Я считаю, что эмоциональная разбалансированность, порождаемая мечтанием, является одним из наиболее важных элементов опыта аналитика, позволяющих ему ощутить, что происходит на бессознательном уровне в аналитических отношениях. Мечтание — это эмоциональный компас, на который я очень полагаюсь (но не могу ясно читать его), чтобы прояснить содержание аналитической ситуации. Парадоксально, но хотя мечтание имеет решающее значение для моей способности быть аналитиком, в то же время именно это измерение в данный момент ощущается как наименее заслуживающее аналитического рассмотрения. Эмоциональное буйство, ассоциирующееся с мечтанием, обычно ощущается так, как будто оно в первую очередь, если не целиком отражает то, как вы *не* являетесь аналитиком в данный момент. Это то измерение опыта аналитика, которое в наибольшей степени ощущается как проявление его неспособности быть восприимчивым, понимающим, сочувствующим, наблюдающим, внимательным, старательным, умным и т.д. Вместо этого эмоциональные пертурбации, ассоциирующиеся с мечтанием, обычно ощущаются аналитиком как продукт его собственной озабоченности, мешающей в данный момент, чрезмерной нарциссической самопоглощенности, незрелости, неопытности, усталости, недостатка образования, неразрешенных эмоциональных конфликтов и т.д. Легко понять, почему аналитик испытывает трудности в использовании своих мечтаний в целях анализа, поскольку такое переживание часто так близко, так непосредственно, что его непросто увидеть: оно “слишком настоящее, чтобы представить” (Frost 1942a).

Поскольку я считаю использование перекрывающихся состояний мечтания аналитика и анализируемого фундаментальной частью аналитической техники, подробное рассмотрение любого аналитического сеанса или серии сеансов может послужить иллюстрацией важных аспектов аналитического использова-

ния мечтания (или трудностей, с которыми сталкивается при этом аналитическая пара). Точно так же подробное рассмотрение каждого конкретного переживания при аналитическом использовании мечтания является специфическим для конкретного момента конкретного анализа. Исследование этого момента непременно будет включать проблемы техники и потенциала для эмоционального роста, которые являются уникальными для данного момента в психологически-межличностном движении аналитика и анализируемого. Поэтому клинический пример, который я представляю, чтобы проиллюстрировать попытку использовать опыт мечтания в аналитическом сеттинге, неизбежно является клиническим примером “особой проблемы” при аналитическом использовании мечтания. (Нет проблем, которые можно было бы обойти при попытке использовать мечтание.)

КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ МОГЛА ОБДУМЫВАТЬ

Ниже я привожу фрагмент анализа, состоящий из трех последовательных сессий, происходивших в начале шестого года работы, проводившейся пять раз в неделю.

Мышцы моего желудка напряглись, и я почувствовал легкую тошноту, когда услышал быстрые шаги г-жи В., избежавшей по лестнице, ведущей к моему офису. Мне казалось, что она отчаянно пытается не пропустить свой второй сеанс. Иногда я чувствовал: количество минут, которые она проводит со мной, заменяет для нее ее качественную неспособность быть здесь, со мной — присутствовать. Несколько секунд спустя я вообразил себе эту пациентку, в нервном нетерпении ожидающую того, чтобы попасть ко мне. Когда пациентка проходила из приемной в кабинет, я всем своим телом ощущал, как она всасывает в себя каждую деталь на этом пути. Я заметил несколько маленьких клочков бумаги из своей записной книжки, лежащих на ковре. Я знал, что пациентка возьмет их вовнутрь и оговорит их “внутри” себя, чтобы в молчании психически расчленить их во время сеанса и после него. Я очень отчетливо чувствовал, что эти кусочки бумаги, которые брали в заложники, были частями меня. (“Фантазии”, которые я описываю, были в тот момент почти физическими ощущениями, в противоположность словесному повествованию.)

Когда г-жа В., разведенная женщина 41 года, архитектор, укладывалась на кушетку, она выгибала спину, без слов показывая, что кушетка вызывает у нее боль в спине. (В течение предыдущих месяцев она несколько раз жаловалась, что моя кушетка вызывает у нее дискомфорт в спине.) Я сказал, что она, кажется, начинает сеанс с выражения протеста против того, что, по ее мнению, я недостаточно забочусь о ней, чтобы предоставить для нее здесь удобное место. (Произнося эти слова, я чувствовал холод в своем голосе и рефлексивную “несвежую” природу этой интерпретации. Это было обвинение, замаскированное под интерпретацию, (я ненамеренно говорил г-же В. о своей усиливающейся фрустрации, злости и чувствах неадекватности относительно нашей совместной работы.)

Г-жа В. ответила на мой комментарий: “Это просто кушетка такая”. (В том, что пациентка сказала “такая” вместо “кажется мне такой”, ощущалась твердость.)

Горькие сетования пациентки, что вещи таковы, каковы они есть, привели мне на ум ее убеждение (к которому она относилась как к факту) в том, что она была нежеланным ребенком, “ошибкой”, рожденной почти десять лет спустя после ее старших брата и сестры. Мать г-жи В. быстро продвигалась в своей карьере в федеральном правительстве, когда была беременна ею, и неохотно взяла декретный отпуск на первые несколько месяцев жизни ребенка. Г-жа В. чувствовала, что мать ненавидела ее всю свою жизнь и с самого начала относилась к ней со смесью невнимания и отвращения, при этом яростно настаивая, что девочка является “миниатюрной версией” матери. Отец пациентки, в процессе анализа находившийся в тени, также был частью “данности”, к которой пациентка чувствовала себя приговоренной. Г-жа В. описывала его как доброжелательного, но неуспешного мужчину, который, видимо, эмоционально отстранился от семьи, когда она родилась.

Тщательно взвешивая слова, я сказал г-же В., что она должна чувствовать, как постоянно приспосабливается ко мне, в то время как я должен восприниматься ею как человек, не имеющий ни малейшего намерения приспособиться к ней. И пациентка и я знали, что то, о чем мы говорим, является главным предметом борьбы в переносе-противопереносе, — интенсивная злость пациентки на меня за то, что я не даю ей того, что, как она *знает*, легко могу дать, если захочу, — свою волшебную превращающую часть, которая переменит ее жизнь. Это была знакомая территория, это уже отыгрывалось бес-

численным количеством способов, включая самое недавнее — форму сексуальной активности, когда она делала своему другу фелляцию и торжествуя проглотила его семя, сознательно фантазируя, что это его сила и витальность. Я подозревал, что бессознательно г-жа В. фантазировала, что семя — это волшебное, превращающее молоко/сила, украденное у матери и у меня. Попытки пациентки украсть мою волшебную превращающую часть вызвали у меня чувство, что ей нельзя ничего дать путем сочувствия или заинтересованности, а тем более симпатии или любви, не ощущая при этом, что я подчиняюсь ей и пассивно следую придуманной ею роли.

Затем г-жа В. заговорила о событиях, которые произошли в течение дня, включая долгий спор с соседом из-за собаки, которая “нервировала” пациентку своим лаем. Я осознал (почувствовав, как это забавно), что идентифицируюсь с собакой соседа, которую, как мне казалось, просили быть воображаемой собакой (изобретенной г-жой В.), не издающей звуков, которые обычно издают собаки. Несмотря на то, что, по-видимому, нечто из ее переноса на меня перемещалось на соседскую собаку и я мог бы это проинтерпретировать, я решил не делать этого. Из своего опыта общения с г-жой В. я знал, что ее монолог содержал невысказанное требование, чтобы я указал ей на то, что она уже полностью осознает (то есть то, что она говорит о собаке, означает, что она также говорит и обо мне). Если бы я сделал это, представлял я себе, пациентка восприняла бы мой комментарий как свою кратковременную победу в попытке заставить меня “ужалить” ее интерпретацией, которая отражала бы мою злость/интерес к ней. В фантазии она пассивно и с ликованием проглотила бы мою украденную (злую) часть. Кроме того, опыт общения с г-жой В. научил меня: если я поддавался давлению и делал требуемую “жалящую” интерпретацию, это вызывало у пациентки разочарование, потому что отражало мою неспособность держать что-то в уме (она сама почти не могла этого делать, когда находилась вместе с матерью). Я также понял, что усилия пациентки вызвать злобный отклик с моей стороны являются бессознательной попыткой вывести меня (в отцовском переносе) из тени в жизнь. Все это тоже много раз было проинтерпретировано.

С другой стороны, я мог ожидать, что если не буду делать интерпретаций, г-жа В. еще больше отстранится и перейдет к другому вопросу, который будет еще более лишенным жизни, чем предыдущий. В прошлом пациентка в таких обстоятельствах становилась сонливой, так что это воспринималось нами обоими как злобный контроль с ее

стороны, временами она засыпала на периоды до пятнадцати минут. Когда я интерпретировал уход пациентки в сон как способ защиты себя и меня от своей (и моей) злости, у меня возникало впечатление, что пациентка относилась к моим словам как к драгоценным предметам, которые нужно огородить (как комочки бумаги с ковра), а не использовать их для порождения собственных идей, чувств, реакций и т.д. Аналогично этому, интерпретации такого использования пациенткой моих интервенций не были продуктивны. Предыдущие обсуждения с г-жой В. этой формы аналитического тупика привели к тому, что она саркастически заметила: Оливер Сакс должен был написать о ней рассказ и назвать его “Женщина, которая не могла обдумывать”.

Пока г-жа В. говорила, а я мучился над описанной дилеммой, я начал думать о сцене из фильма, который видел в предыдущие выходные. Коррупцированный чиновник получает от главаря мафии приказ совершить самоубийство. Он паркует свою машину на оживленной магистрали и приставляет пистолет к виску. Затем машину показывают с большого расстояния с противоположной стороны магистрали. Окно со стороны водителя мгновенно окрашивается в красный цвет, но не разбивается. Звук, свидетельствующий о самоубийстве, оказывается не выстрелом, а шумом непрерывного уличного движения. (Эти мысли совсем ненавязчивы и занимают всего несколько секунд.)

Г-жа В. без паузы или перехода продолжает говорить о свидании, которое у нее было накануне вечером. Она описывала мужчину с помощью набора несвязных наблюдений, в основном лишенных чувства — что он хорош собой, начитан, в его поведении проявляются признаки тревоги и т.д. Не было практически никакого намека на то, как себя чувствовала пациентка, проводя с ним вечер. Я знал, что г-жа В. говорила все это не мне. Очень может быть, что она говорила даже не себе самой, потому что мне казалось, что ее несколько не интересует то, что она говорит. Я уже много раз интерпретировал это чувство отдаленности пациентки от меня и от себя самой. В тот момент я решил не предлагать это наблюдение в качестве интерпретации отчасти потому, что чувствовал: оно будет воспринято как еще одно “жало”, а я не знал, как сказать ей об этом иначе.

Когда пациентка продолжила, я почувствовал, что время движется крайне медленно. У меня было клаустрофобическое переживание,

что я проверяю время по часам, а через некоторое время снова смотрю на часы и обнаруживаю, что стрелки не сдвинулись с места. Я также поймал себя на том, что играю в игру (в которой не было ничего забавного), наблюдая за секундной стрелкой часов на противоположной стене комнаты, которая описывала свои круги, и в какой-то определенный момент ее движения на цифровых часах автоответчика возле моего кресла одна цифра менялась на другую. Совпадение двух событий — положения секундной стрелки часов и момента смены цифры на автоответчике) приковывало мое внимание таким странным, гипнотизирующим, хотя не возбуждающим и не захватывающим образом. Прежде я не занимался ничем подобным во время сеансов с г-жой В. или с какими-либо другими пациентами. У меня возникла мысль, что эта умственная игра, возможно, отражает тот факт, что я переживаю взаимодействие с г-жой В. как механическое, но эта мысль показалась мне заученной заранее и совершенно неадекватной разрушительной природе этой клаустрофобии и других слабо определяемых чувств, которые я испытывал.

Затем я стал (не вполне осознавая этого) думать о том, что несколько часов назад мне позвонил друг, только что перенесший диагностическое исследование сосудов сердца с помощью катетера. Он сказал, что завтра ему будет сделана срочная операция аорто-коронарного шунтирования. Мои мысли и чувства перешли от тревоги и огорчения по поводу болезни и предстоящей операции друга к фантазии, что мне самому сообщают о том, что мне срочно необходима такая операция. В своей фантазии о получении этого известия я вначале почувствовал сильный страх, что никогда не проснусь после операции. Страх вызвал ощущение психического онемения, чувство отстраненности, напоминающее начало эмоционального оупения, после того как быстро выпьешь стакан вина. Это онемение тихо перетекло в другое чувство, с которым даже не было связано никаких слов или образов. Переживание этого нового чувства предшествовало любой форме мысли или образа, подобно тому, как человек просыпается иногда ото сна с сильной тревогой, телесной болью или каким-то другим чувством и только через несколько секунд вспоминает события жизни или сон, с которыми эти чувства связаны. В описываемом мной случае на сеансе с г-жой В. я осознал, что это новое чувство было ощущением глубокого одиночества и потери, которое было несомненно связано с недавней смертью близкой подруги J. Я припомнил чувства, которые испытывал, разговаривая с подругой вскоре после того, как ей поставили диагноз: рецидив рака груди. Совершая длинную прогулку воскресным утром, мы вместе пытались “вычислить”, каким будет следующий этап лечения

ее рака, давшего обширные метастазы. Во время этой прогулки (я думаю, для нас обоих) наступило минутное освобождение от глубокого ужаса, который вызывало происходящее, пока мы взвешивали различные возможности, как будто рак был излечимым. Когда я мысленно возвратился к фрагментам нашего разговора, мне показалось, что чем более практическим становился наш разговор тогда, тем больше он исполнял наши желания — мы вместе творили мир, в котором все действовало и было взаимосвязано. Это было не пустое чувство, когда выдаешь желаемое за действительное, — а чувство, исполненное любви. В конце концов, ведь это же справедливо, что 3 плюс 8 равно 11. В этом фрагменте мечтания присутствовало не только желание справедливости, но и желание, чтобы кто-то следил за правилами. В тот момент своего мечтания я осознал то, что испытывал прежде: мир исполнения желаний, который J. и я создавали, был миром, где не было “мы”: она умирала, а я говорил о ее умирании. До этого момента на сеансе я не осмеливался почувствовать, насколько она была одинока в своем состоянии. Я ощутил очень болезненный стыд из-за трусости, которую я проявил, защищая себя именно так, как я это сделал. Более того, я почувствовал, что оставил свою подругу еще более изолированной, чем она должна была быть, не признав полностью степень ее изоляции.

Затем я переключил внимание на г-жу В. Она говорила с заметным усилием (с преувеличенной живостью в голосе) об огромном удовольствии, которое получает от работы и от чувства взаимного уважения и дружеского сотрудничества, которые она испытывает по отношению к коллегам в своей архитектурной фирме. Мне показало, что эта идеализированная картина, которую г-жа В. представляла мне, лишь едва прикрывала чувства одиночества и безнадежности по поводу перспективы когда-либо действительно испытать такие чувства легкости и близости с коллегами, друзьями или со мной.

Слушая натужный рассказ г-жи В., я осознал чувство, среднее между тревогой и отчаянием, имевшее неспецифическую природу. Я вспомнил мрачное удовольствие, которое испытывал, следя за совпадением точного, повторяющегося положения вращающейся секундной стрелки часов и мгновения перемены цифр на автоответчике. Я подумал, что, возможно, тот факт, что было место и время, когда секундная стрелка и цифровые часы “пересекались”, мог выражать мое бессознательное усилие ощутить, что вещи можно назвать, познать, определить и локализовать так, как — и это я знал — было невозможно сделать.

Г-жа В. начала следующий сеанс со сновидения:

Я вижу мужчину, который ухаживает за ребенком где-то на воздухе, в каком-то месте вроде парка. Кажется, что он делает это хорошо. Он несет ребенка по крутой бетонной лестнице и поднимает его, как будто там есть горка, чтобы посадить его туда, но горки там нет. Он отпускает ребенка и позволяет ему соскальзывать по ступеням. Я вижу, как ломается шея ребенка, ударяясь о верхнюю ступеньку, и как начинает болтаться его голова. Когда ребенок приземляется у подножия лестницы, мужчина подбирает неподвижное тело. Я удивляюсь, что ребенок не плачет. Он смотрит прямо мне в глаза и с жутким выражением улыбается.

Г-жа В. часто начинала сеансы со сновидений, однако этот сон был необычен тем, что очень затронул меня. Он заставил меня испытать чувство безнадежности. Прежние сновидения пациентки казались плоскими и не приглашали проявить интерес и обсудить их. Г-жа В. никак не прокомментировала сон и тут же стала очень детально рассказывать о проекте на работе, в который она была вовлечена в течение некоторого времени. Через несколько минут я перебил ее и сказал, что, рассказав мне сон, она попыталась сообщить нечто важное, но в то же время побоялась, что я это услышу. То, что она похоронила сон в шуме деталей проекта, должно было создать видимость, что она не сообщила мне ничего важного.

Г-жа В. серьезным, но покорным тоном сказала, что, рассказывая мне сон, она вначале идентифицировалась с ребенком, так как часто чувствовала себя брошенной мной. Затем она быстро и неожиданно продолжила, заявив, что эта интерпретация кажется ей “какой-то ложью”, поскольку она ощущает ее как “надоевшую старую песню, что-то вроде коленного рефлекса”.

Затем пациентка сообщила, что во сне было несколько очень расстроивших ее моментов, начиная с того, что она чувствовала себя “обездвиженной” и неспособной предотвратить то, что видела. (Это напомнило мне стыд, который я чувствовал на предыдущем сеансе в связи с мыслью, что я защитил себя от изоляции, которую испытывала моя подруга J. и в каком-то смысле наблюдал за всем, будучи обездвижен.) Г-жа В. добавила, что еще больше расстроило ее то чувство, что она была и ребенком и мужчиной в этом сне. Она опознала себя в том, как ребенок пристально смотрел ей в глаза и улыбался отрешенно и насмешливо. Улыбка ребенка была похожей на

невидимую улыбку торжества, которой она часто внутренне улыбалась мне в конце каждой встречи (и много раз во время встреч), показывая, что она “выше” психологической боли и “неподвластна ей” и что это делает ее гораздо более могущественней, чем я (что бы я об этом ни думал).

Меня тронули сознательная и бессознательная попытки пациентки сказать мне — пусть не напрямую, — что она в какой-то степени ощущает, каково мне выносить ее вызывающие заявления о том, что она не нуждается во мне, и ее торжествующие демонстрации своей способности занимать место выше (вне) человеческих переживаний и психологической боли.

Затем г-жа В. сказала, что очень испугана тем, как ей легко стать мужчиной и ребенком в сновидении, то есть как легко она входит в образ “робота”, в котором способна полностью разрушить анализ и свою жизнь. Она была ужасно напугана своей способностью обманывать себя, подобно тому, как мужчина верил, что сажает ребенка на горку. Г-жа В. сказала мне, что может легко разрушить анализ таким глупым способом. Она чувствует, что совсем не может полагаться на свою способность различать реальный разговор, нацеленный на изменение, и “псевдоразговор”, ведущийся для того, чтобы заставить меня думать, будто она говорит что-то, когда она ничего не говорит. Даже в данный момент она не может сказать, в чем разница между тем, что она реально чувствует, и тем, что она изобретает.

Я хотел бы лишь схематично представить элементы следующей встречи, чтобы передать образ аналитического процесса, который был приведен в движение двумя только что описанными сеансами.

Следующая встреча началась с того, что г-жа В. подобрала кусочек нитки, лежавший на кушетке, с преувеличенным жестом отворачивания подняла его двумя пальцами и бросила на пол, прежде чем улечься. Когда я спросил, что может означать такое начало нашей встречи, она смущенно засмеялась, как будто была удивлена моим вопросом. Обойдя мой вопрос, пациентка сказала, что сегодня с самого раннего утра ее обуяла навязчивая мания уборки. Она проснулась в четыре утра в состоянии сильнейшего возбуждения, которое можно было облегчить, только убираясь в доме, особенно наводя чистоту в ванной. Г-жа В. сказала, что чувствует себя неудачницей в жизни и в анализе, и ничего больше не остается, как контролировать “эти смешные вещи”, которые находятся в ее власти. (Я чувствовал ее отчаяние, но это объяснение было слишком книжным.)

Пациентка продолжила, заполняя первые полчаса сеанса всякими пустяками. Моя попытка проинтерпретировать ее навязчивую/пустяковую деятельность как тревожную реакцию на то, что она сказала слишком много (создала “беспорядок” на предыдущей встрече), было поверхностно принято, после чего г-жа В. продолжила свои пустяки.

Когда пациентка погрузилась в свои защитные пустяки, я поймал себя на том, что наблюдаю игру солнечных лучей на стеклянных вазах на подоконнике одного из окон моего офиса. Очертания ваз были приятными. Они были очень женственными и напоминали об очертаниях женского тела. Немного позже у меня появился образ большой емкости из нержавеющей стали в каком-то месте, похожем на фабрику, возможно, на пищевую фабрику. Мое внимание в этой фантазии было с тревогой приковано к механизму, прикрепленному к одной из емкостей. Оборудование громко клацало. Я не понимал, что так пугает меня, но казалось, что механизмы работают не так, как должны, и вот-вот может произойти серьезный сбой с катастрофическими последствиями. Мне вспомнилось крайнее затруднение, которое испытывали г-жа В. и ее мать при кормлении грудью. Согласно рассказу матери г-жи В., пациентка так сильно кусала материнские соски, что они воспалились и кормление грудью было прекращено.

У меня возникла мысль, что я переживаю чувственное и сексуальное оживление, находясь с г-жой В., но встревожен этим и превратил ее женственность (в частности, ее груди), в нечто неживое (емкость из нержавеющей стали и его сосок/механизм). Как будто я почувствовал, что за сексуальным желанием к г-же В. и сексуальным удовольствием, получаемым с нею, должна немедленно последовать катастрофа. Эти желания и страхи возникли неожиданно для меня, поскольку вплоть до этого момента я не чувствовал никакого сексуального или чувственного влечения к г-же В. и на самом деле осознавал сухость и скуку, которые были результатом полного отсутствия этого измерения опыта. Я подумал о том, как г-жа В. выгибала спину за два сеанса до этого и впервые ощутил образ этой женщины, изгибающей спину на кушетке, как непристойную карикатуру на половой акт.

Примерно за двадцать минут до конца сеанса г-жа В. сказала, что сегодня она пришла с желанием рассказать мне сон, который разбудил ее среди ночи, но она забыла его и вспомнила только сейчас:

“У меня только что родился ребенок, и я гляжу на него в колыбельке. Я не вижу ничего похожего на себя в его смуглом, средиземноморском, напоминающем сердечко личике. Я не признаю его как что-то вышедшее из меня. Я думаю: “Как же я родила такое?” Я беру его, и держу его, и держу его, и держу его, и он становится маленьким мальчиком с густыми курчавыми волосами”.

Затем г-жа В. сказала: “Рассказывая вам сон, я думала: то, что исходит здесь из меня, не похоже на меня. Я не могу испытывать никакой гордости за это и не чувствую с этим никакой связи”. (Я осознал, что пациентка оставляет меня за рамками, это было особенно убедительно, потому что у меня курчавые волосы. Меня также поразила живость этого сна на сеансе и то, что эта живость возникла вследствие рассказывания пациенткой своего сна в настоящем времени, что для нее было необычным.)

Я сказал пациентке: это, по-видимому, правда, что она чувствует отращивание ко всему, что исходит из нее здесь, но, рассказывая мне сон, она говорит мне нечто большее. Она как будто испугана тем, что чувствует или позволяет мне почувствовать ту любовь, которую она испытывает к ребенку во сне. Я спросил, испытала ли она перемену в своих чувствах, когда перешла в рассказе о ребенке от слов “это”, “оно”, к слову “он”, когда сказала, что взяла его и стала держать, держать, держать. Г-жа замолчала на одну-две минуты, и в это время я подумал, что, возможно, преждевременно использовал слово “любовь”, которое, как мне казалось в тот момент, никто из нас не употреблял на протяжении всего анализа.

Г-жа В. ответила, что она заметила изменение в том, как она рассказывала мне сон, но она может воспринимать это как *чувство*, только слушая, как я повторяю ее слова. Когда я говорил, она испытывала благодарность за то, что я не позволил этим вещам быть “выброшенными”, но в то же время испытывала, как ее напряжение возрастает с каждым моим словом, т.е. она опасалась, что я скажу что-то смущающее ее. По ее мнению, это было похоже на то, что я мог раздеть ее и она оказалась бы голой на кушетке. После еще одной паузы длительностью примерно минуту, г-жа В. сказала, что ей трудно сказать мне это, но ей пришла в голову мысль, когда она представляла себя лежащей голой на кушетке, что я взгляну на ее груди и увижу, что они слишком маленькие.

Я подумал о страданиях своей подруги во время операции по поводу рака груди и в этот момент осознал, что чувствую, с одной стороны,

волну глубокой любви к ней и, с другой стороны, печаль из-за огромной пустоты, которую ее смерть оставила в моей жизни. Этот спектр чувств прежде не был частью моих переживаний, связанных с г-жой В.

К этому моменту сеанса я обратил внимание, что слушаю г-жу В. и реагирую на нее совсем иначе. Было бы преувеличением сказать, что чувства злости и изоляции исчезли, но теперь они стали частью более обширного комплекса эмоций. Изоляция уже не была просто встречей с чем-то нечеловеческим; скорее, она ощущалась как тоска по человечности г-жи В., присутствие которой я физически ощущал, хотя лишь издалека мог видеть ее краткие проблески.

Я сказал пациентке, что, на мой взгляд, ее сон и его обсуждение нами также, по-видимому, включают в себя чувство печали о том, что большие куски ее жизни были без необходимости потеряны, “выброшены”. Она начала рассказывать мне сон со слов: “У меня только что родился ребенок”, но большая часть того, что за ними последовало, касалась тех способов, которыми она препятствовала себе жить этими переживаниями — иметь ребенка. (В ходе анализа у г-жи В. редко возникали фантазии или сны о том, что у нее есть ребенок, и я мог вспомнить только два случая, как мы обсуждали вопрос о том, хотела ли она когда-либо иметь детей.) На ее лице появились слезы, хотя в голосе не было никаких признаков плача, когда она сказала, что никогда не облекала это чувство в слова, но ее стыд по поводу своих груди состоит главным образом в том, что они выглядят как груди мальчика, которые никогда не дадут молока для ребенка.

ОБСУЖДЕНИЕ

Я начал представление первого из трех сеансов, состоявшихся на шестом году анализа г-жи В., с описания своей реакции на звук быстрых шагов пациентки по лестнице, ведущей в мой офис. Я считаю, что невозможно переоценить то, насколько важно осознавать свои ощущения от встречи с пациентом на каждом сеансе (включая чувства, мысли, фантазии и телесные ощущения, переживаемые в предвкушении этой встречи.) Большая часть моих реакций на г-жу В. в тот день (и когда я прислушивался к ее приближению к моему офису, и ког-

да встретился с ней в приемной) состояла из телесных ощущений (“фантазий тела” [Gaddini 1982]). С самого начала я предвосхищал (в фантазии) физическое и психологическое вторжение со стороны пациентки: мышцы живота у меня напряглись, как будто я бессознательно ожидал получить удар в живот, и я ощутил тошноту, готовясь избавиться от ее пагубного присутствия, которое ожидал почувствовать внутри себя. Эти чувства нашли свое развитие в форме фантазий о том, что пациентка пытается “втереться” внутрь меня (войти в мой офис/тело), а также о том, что она пожирает меня глазами, и о том, как она брала меня в заложники, впитывая в себя комочки бумаги из моей записной книжки, обнаруженные на ковре.

Очевидно, что это мечтание, возникшее еще до того, как пациентка вошла в кабинет, отражало комплекс переносно-противопереносных чувств, которые возростали в своей интенсивности и специфичности в течение некоторого времени и все же не были доступны ни пациентке, ни мне для рефлексивного обдумывания и вербальной символизации. Этот аспект аналитических отношений переживался нами в основном просто как существующее положение вещей.

Я воспринял то, что г-жа В. выгибает спину, просто как жалобу и не мог в тот момент допустить, что этот жест может иметь другие значения. Моя первоначальная интерпретация апеллировала к идее о том, что пациентка гневно протестует против моего нежелания обеспечить ей комфортабельное место в моем офисе. Я мог слышать и чувствовать холод в своем голосе, превращавший интерпретацию в обвинение. В тот момент я чувствовал себя неспособным быть с пациенткой аналитиком, казался себе разгневанным, брошенным и довольно беспомощным, чтобы как-то изменить ход событий. “Консервированный” характер моей интерпретации пробудил у меня внимание к моей собственной эмоциональной зафиксированности в отношениях с г-жой В. и неспособности в тот момент думать или говорить свежо и быть открытым для новых возможностей понимания и переживания того, что происходило между нами. Это понимание было для меня очень неприятным.

Хотя в тот момент мне пришли в голову некоторые аспекты опыта пациентки в ее отношениях с родителями, я едва ли смог как-то реально использовать этот контекст, чтобы взглянуть на нынешнюю ситуацию. Более того, комплекс идей, касающихся переноса-противопереноса, возникший в этот период анализа (например, идея о том, что пациентка постоянно требует от меня магически превращающего молока/семена/силы) потерял большую часть своей жизненности, которой обладал раньше. В тот момент эти идеи стали и для меня и для пациентки застывшей формулой, в основном служившей защитой от чувств спутанности и беспомощности и от переживания более широкого спектра чувств (включая любовные).

Возможно, разрушительное осознание того, как гнев мешает моей способности предлагать полезные интерпретации, привел к началу психологического сдвига, выразившегося в моей способности видеть и чувствовать юмор моей идентификации с соседской собакой, которую (как я чувствовал) просили не быть собакой, а быть плодом воображения пациентки. Это привело к тому, что я удержался от еще одного холодного, процеженного сквозь зубы вмешательства (“хорошо взвешенного”), а попытался слушать.

Именно после этого аффективного сдвига мечтания, в значительной степени вербально-символического (не исключительно соматического) характера, стали более разработанными. Мечтание, возникшее в тот момент сеанса, состояло из серии образов и чувств (взятых из фильма), в которых коррумпированному чиновнику было приказано покончить с собой. Он совершил это так, что звук самоубийства оказался не звуком учащенного дыхания, пистолетного выстрела, звона стекла или хлынувшей крови, а шумом непрерывного уличного движения, безразличного к этому одинокому поступку человека. Хотя образы моего мечтания имели большую эмоциональную силу, они в тот момент были так ненавязчивы, так мало доступны для саморефлексирующего сознания, что могли служить только незримым эмоциональным фоном.

Хотя переживание этого мечтания было едва заметным и в момент своего возникновения сознательно не использовалось, тем не менее оно было будоражающим и привело к созданию специфического эмоционального контекста, ставшего бессознательным обрамлением всего, что за ним последовало. Вследствие этого отчет г-жи В. о ее свидании накануне вечером воспринимался иначе. Ее разговор вызвал у меня болезненное осознание чувства, что это говорят не мне, как будто слова заполняют пустое пространство, а не являются обращением одного человека к другому (даже обращением пациентки к себе самой).

Не зная, как сказать пациентке о том, что она не говорит ни мне, ни себе самой, я продолжал молчать. Я снова обнаружил, что мой ум блуждает, на этот раз ненадолго погрузившись в умственную “игру” наблюдения за точным местом и временем совпадения цифр таймера на автоответчике и оборота секундной стрелки часов на противоположной стене. Отчасти это облегчало клаустрофобию, которую я переживал, чувствуя себя пойманным в ловушку, *одиноким* рядом с г-жой В. Я предположил, что и мечтание о самоубийстве, и “игра”, включавшая соединение двух кусков времени, могли отражать мое ощущение механического, нечеловеческого характера моих переживаний, связанные с г-жой В., но эта мысль казалась поверхностной и вырванной.

Последовавшие за этим мечтания отражали движение от довольно ригидной, навязчивой формы к более аффективно заряженному “потoku сознания”

(У. Джеймс 1890). Я испытал неприятные чувства, вспомнив телефонный звонок друга, который сказал, что нуждается в срочной операции на открытом сердце. Я очень быстро защитил себя от страха его смерти, в фантазии нарциссически превратив это событие в историю о том, что я получил это известие. Мой собственный страх смерти выразился в страхе “никогда не проснуться”. Мысль о том, чтобы “никогда не проснуться”, в тот момент была бессознательно сверхдетерминирована и, как ретроспективно казалось, включала в себя указание на тягостную “живую смерть” анализируемой и на мое собственное состояние анестезии в анализе, от которого я боялся никогда не очнуться.

Во всем этом содержалось также быстро растущее ощущение отсутствия контроля как по отношению к собственному телу (болезнь/сон/смерть), так и по отношению к людям, которых я люблю и от которых завишу. Эти чувства были на мгновение ослаблены защитным уходом в эмоциональную отстраненность, психическое онемение. Мои усилия справиться с эмоциональной отстраненностью длились не слишком долго и привели к мечтанию в форме живых образов о времени, проведенном с очень близкой подругой в разгар ее борьбы с неминуемой смертью. (Я хотел бы подыскать слово, лучше подходящее к созданию этих образов в мечтаниях, чем “воспоминание”, поскольку идея “воспоминания” имеет очень сильную коннотацию чего-то зафиксированного в памяти, “вызванного в сознание *вновь* [вспомненного]”). Переживание на сессии не было повторением чего-то произошедшего раньше; это было переживание, возникшее впервые, рожденное в интерсубъективном контексте анализа.)

В ходе мечтания о разговоре с моей подругой (когда делались выдающие желаемое за действительное, но отчаянно реальные попытки “вычислить”, что надо делать) произошел важный психологический сдвиг. То, что в этом мечтании начиналось как настоятельное желание, чтобы вещи были справедливыми и “имели смысл”, стало болезненным чувством стыда в связи с тем, что я не смог оценить глубину той изоляции, которую переживала моя подруга. Символическое и аффективное содержание мечтания еще не образовывало сознательного чувства собственной изоляции, по поводу которого я мог бы говорить с собой или с пациенткой. Тем не менее, несмотря на тот факт, что сознательное вербально-символическое понимание переживания мечтания в тот момент отсутствовало, возникло важное *бессознательное* психологическое движение, которое, как мы увидим, наложило существенный отпечаток на последующие события сеанса*.

*Бессознательное движение, привнесенное переживанием мечтания, можно понимать как следствие бессознательной “работы понимания” (Sandler 1976), которая является интегральной частью сновидений (и мечтаний). Сны и мечтания всегда включают бессознательный внутренний разговор между “сновидцем, который видит сон, и сновидцем, который понимает сон” (Grotstein 1979). Если бы такого бессознательного разговора не существовало (если бы не было бессознательной “работы понимания”, связанной с бессознательной “работой сновидения”), мы могли бы заключить, что только те сны (или мечтания), которые мы помним, имеют психологическую ценность и вносят вклад в психологический рост. Этот взгляд разделяют лишь немногие аналитики.

Повернув фокус своего внимания к г-же В., я возвращался не к тому месту, в котором находился на сеансе, а входил в новое психологическое “место”, не существовавшее раньше, место, отчасти эмоционально порожденное переживанием только что описанных мной мечтаний. Г-жа В. в тот момент говорила в тревожно-давящем, идеализирующем стиле о своих отношениях с коллегами. Переживание мечтаний, описанных выше (включая мое переживание защитного психического онемения), сделали меня более чувствительным к переживаниям психологической боли, маскируемым опорой на маниакальные защиты, в частности, боли от усилий жить в ужасном одиночестве и изоляции при чувстве собственного бессилия.

Мечтание “игры с часами”, возникшее до этого на сеансе, приобрело теперь новое значение в новом эмоциональном контексте. “Предыдущее” мечтание возникло как будто в первый раз, потому что воспоминание его в новом психологическом контексте сделало его другим “аналитическим объектом”. “Умственная игра”, как я воспринимал ее в тот момент, была наполнена не скукой, отстраненностью и клаустрофобией, но отчаянием, которое воспринималось как мольба. Это была мольба к кому-то или чему-то, на кого можно положить-ся, какая-то якорная точка, которую можно было узнать и локализовать и которая могла хотя бы на мгновение остаться как данность. На сеансе возникли “мультивалентные” чувства, — которые одновременно несли в себе мои чувства в отношениях с J. и в разворачивающихся аналитических отношениях.

Только что описанное аффективное движение нельзя точно концептуализировать как “раскрытие” прежде “скрытых” чувств в моем прошлом опыте отношений с J. Так же неверным было бы сводить то, что возникало в связи с этим, к процессу, в котором пациентка помогала мне “проработать” мои неразрешенные бессознательные конфликты в отношениях с J. (процесс, который Сирлз [Searles 1975] обозначил как превращение пациента в “терапевта для аналитика”). Скорее, я понимал переживания мечтаний, порожденные на описываемом сеансе, как отражение бессознательных intersубъективных процессов, в которых аспекты мира моих внутренних объектов были переработаны тем специфическим образом, который был уникально задан особыми бессознательными конструкциями, порожденными аналитической парой. Эмоциональное изменение, которое я переживал по отношению к моим (внутренним) объектным отношениям с J., могло возникнуть только в контексте специфических бессознательных intersубъективных отношений с г-жой В., существовавших в тот момент в описываемых мной аналитических отношениях. Внутреннее объектное отношение с J. (или с любым другим внутренним объектом) не является фиксированным целым; это текучий набор мыслей, чувств и ощущений, постоянно находящийся в движении и всегда подверженный новому влиянию и переструктурированию, когда он *вновь* переживается в контексте каждых новых intersубъективных отношений. В каждом случае это является отдельным аспектом в сложном движении чувств, образующих внутренние

объектные отношения, которые становятся наиболее живыми в новом бессознательном интерсубъективном контексте. Именно это делает каждое бессознательное аналитическое взаимодействие уникальным как для аналитика, так и для анализируемого. Я не рассматриваю аналитическое взаимодействие в терминах заранее существующей у аналитика чувствительности к аналитическим отношениям, которая "вступает в игру" (как при нажатии клавиш на пианино) под действием проекций или проективных идентификаций пациента. Скорее, аналитический процесс включает в себя создание новых бессознательных интерсубъективных событий, которые никогда раньше не существовали ни в аффективной жизни аналитика, ни в аффективной жизни анализируемого.

Только что описанное переживание г-жой В. бессознательного интерсубъективного движения и ее участие в нем, отразились в сновидении, с которого она начала вторую из трех представляемых сессий. В этом сновидении пациентка наблюдала за мужчиной, который ухаживал за ребенком. Мужчина поднял ребенка на воображаемую горку и дал ему упасть на бетонную лестницу, так что ребенок сломал себе шею. В конце сна, когда мужчина подбирает безмолвного, неподвижного ребенка, этот ребенок смотрит прямо в глаза пациентке и жутко улыбается.

Рассказав свой сон, г-жа В. продолжила говорить так, будто она не сказала ничего важного о своей сновидной жизни или о какой-либо другой части своей жизни. Я обнаружил (не планируя этого), что слова интерпретации, которую я предложил, были позаимствованы как из образа моего мечтания о дорожном шуме, перекрывающем одинокое самоубийство, так и из эмоционального воздействия на меня той абсолютной тишины, которая обрамляла сон пациентки (в отчете г-жи В. о сновидении не было ни дополнительных слов, ни плана, ни вскриканий, ни восклицаний). Я сделал замечание, что пациентка создает словесный "шум", чтобы заговорить (утопить) нечто очень важное, и в своем рассказе о сновидении. Она и надеется, что я услышу это важное, и пытается не дать мне его услышать. На вопрос о том, где заканчиваются мои мечтания и начинается сновидение пациентки, в этот момент невозможно ответить сколько-нибудь определенно. И мои мечтания, и сновидение пациентки возникли в одном и том же "интерсубъективном аналитическом сновидном пространстве" (см. главу 5).

Реакция г-жи В. на мою интерпретацию была более непосредственной, саморефлективной и аффективно окрашенной, чем раньше. Несмотря на оттенок подчинения, было ясно, что аналитические отношения находятся в процессе изменения. Начав с того, что она воспринимает себя ребенком, брошенным мной, пациентка смогла увидеть, что интерпретация представляет собой "своего рода ложь", поскольку является избитой и вторичной. Затем она заговорила о чувстве "обездвиженности" в ее неспособности предотвратить то, что она

наблюдала. Мое мечтание из предыдущего сеанса, включающее ощущение стыда, связанного с тем, что я ощущал себя обездвиженным наблюдателем изоляции J., привело меня к вопросу: были ли стыд и вина важными аспектами неприятного состояния пациентки во сне, так же как и в ее отношениях со мной. Последовавшие реплики г-жи В., кажется, дали ответ: она косвенно сообщила мне, что пугается своей способности изолировать себя от меня, претендуя на то, что она “выше” психологической боли или “недоступна” для нее.

В то время как г-жа В. говорила о своей “мрачной улыбке”, адресованной мне, я не был уверен, осознает ли пациентка, что она пытается облегчить мне чувство изоляции, которое я ощущаю в ее обществе. Сессия завершилась тем, что пациентка сказала мне о страхе перед своей способностью быть столь неуязвимо механической, что она способна разрушить и анализ, и свою жизнь. Переживая в тот момент свою неспособность отличить реальные чувства от обманчивого “псевдоразговора”, г-жа В., не осознавая этого полностью, говорила со мной о тех единственных вещах, реальность которых она чувствовала “нутром” — о пугающем ее незнании, что реально, и о том, что она внутри себя как в ловушке.

Следующая встреча началась с театрального отыгрыша на сеансе, когда г-жа В. брезгливо сняла с кушетки кусочек нитки. У пациентки долгое время существовала привычка тревожно отстраняться от меня после сессий, когда она чувствовала, что наши разговоры отражают ощущение человеческого тепла. Тем не менее, высокомерный, отстраненный характер жеста пациентки оставил у меня явное чувство разочарования, что связь, которую я начал чувствовать с г-жой В., снова резко оборвалась. Я почувствовал, что меня отбросили примерно с той же заботой, которую она испытывала к кусочку нитки, брошенному на пол.

Казалось, что пациентка тоже переживала разочарование собой, ощущая себя неудачницей в жизни и в анализе. Она также явно чувствовала себя испуганной и смущенной тем, что (в фантазии) замарала себя и меня, и пыталась испуленно отчистить пролившееся телесное содержимое/чувства (туалетную грязь). Мои попытки говорить с г-жой В. о том, что я понимаю ее теперешние чувства и поведение как реакцию на ее переживание взаимоотношений со мной на предыдущей встрече, систематически игнорировались ею.

На протяжении большей части сессии, пока пациентка скучно говорила, мои собственные мечтания включали чувственное удовольствие от женственных линий, создаваемых игрой солнца на вазах в офисе. За этими чувствами последовала исполненная тревоги череда мечтаний, связанных с образами неработающих механизмов, прикрепленных к емкостям где-то на фабрике, которая, возможно, выпускала продукты питания. Было сильное ощущение надвигающегося несчастья. Эти образы и чувства соединились в моем уме с рассказом

пациентки об очень раннем окончании кормления грудью, что было результатом ее “чрезмерного желания” (она кусала материнские соски так сильно, что они воспалились).

Несмотря на то, что прежде г-жа В. не вызывала у меня ни намека на сексуальное или чувственное оживление, теперь я начал испытывать эти чувства и ощутил тревогу, предположив в фантазии, что за этим немедленно последует катастрофа. Я вспомнил о том, как г-жа В. в начале одного из предыдущих сеансов лежала на кушетке, изогнув спину, и как эта поза не имела тогда надомной никакой сексуальной власти. Теперь это телесное движение казалось мне карикатурой на половой акт, так как было выражением сексуального желания по отношению ко мне и одновременно принижением этого желания.

Мысли и чувства в мечтании, а также описанные образы служили эмоциональным контекстом, пока я слушал сон, который пациентка рассказывала во второй половине сеанса, и реагировал на него. В этом сне г-жа В. только что дала жизнь ребенку, которого чувствовала чужим. Пока она держала, и держала, и держала его, он превратился в маленького мальчика с густыми кудрявыми волосами. Г-жа В. — что было для нее нехарактерно — предложила собственную интерпретацию сна, сказав, что он отражает то, как она чувствует отделенность от всего, что происходит с нею в анализе. Я признал, что, по-видимому, пациентка чувствовала это на протяжении длительного времени, но (под влиянием остатков чувств из своих мечтаний) сказал, что рассказывая мне этот сон, она сообщает мне нечто большее. Я сказал, что с моей точки зрения, г-жу В. пугало открытое выражение привязанности к своему ребенку. (Я решил отложить до следующих сессий интерпретацию идеи/желания, что кудрявый ребенок был “нашим”, поскольку мне казалось необходимым, чтобы пациентка сначала обрела способность искренне пережить свою связь с ним [мною/собой/анализом.] Затем я спросил, почувствовала ли г-жа В. то, как она, почти помимо своей воли, позволила ребенку стать живым (и любимым), потому что на середине фразы она, говоря о ребенке, переменила слово *it* на *him*: “Я взяла его (*it*), и носила его (*him*), и носила его (*him*), и носила его (*him*)”).

После паузы, которая ощущалась как задумчивая и одновременно тревожная, г-жа В. сказала, что чувствует ко мне благодарность за то, что я не “выбросил этой части вещей”. Я осознавал, что г-жа В. прибегает к расплывчатому языку (“эта часть вещей”), вместо того чтобы использовать слово “любовь” (как это сделал я) или ввести собственное слово для обозначения того чувства, которое “не было выброшено”. Она продолжала рассказывать о том, как боялась, что я буду смущать ее своими словами (в фантазии — раздену ее) и что обнажатся ее груди и я сочту их слишком маленькими.

Тогда я почувствовал так, как не мог до сих пор чувствовать на протяжении всего анализа, ту силу любви, которую испытывал к J., и всю глубину моей пе-

чали и утраты. Только в этот момент я стал подозревать, что чувство стыда, которые я испытывал во время мечтания о J. на одной из предыдущих сессий, служило для меня защитой от переживания боли и утраты, связанной с этой любовью. Я подозревал, что стыд г-жи В., связанный с фантазией о том, что я сочту ее груди слишком маленькими, выполнял сходную защитную функцию по отношению к пугающим желанием быть способной любить меня и чувствовать мою любовь к себе (так же как и сопровождающий страхи моего презрения к ней и ее собственного презрения к себе за то, что у нее есть такие желанья). Это пугающее защитное презрение выразилось в ее брезгливом жесте в начале сеанса.

Описанные мечтания и мысли (например, мечтания, включавшие анонимное самоубийство, попытку контролировать ход времени, неспособность в полной мере оплакать раннюю смерть подруги, тревогу, связанную со скрытой сексуальной и чувственной живостью и связью) повлияли то, что я сказал г-же В.: мне кажется, в нашей беседе есть печаль о том, что важные аспекты ее жизни не были прожиты (были “выброшены”). Говоря о печали по поводу выброшенной, непрожитой жизни, я думал не только о том, как г-жа В. не позволяла себе быть матерью своего (нашего) ребенка во сне, но и о том, как она (в разной степени) не позволяла себе проживать переживания себя в аналитических отношениях со мной и переживания, связанные с тем, чтобы быть дочерью своей матери или иметь мать.

В ответ на это г-жа В. заплакала, и я почувствовал, что она переживает печаль вместе со мной, а не драматически разыгрывает для меня придуманное чувство. Пациентка добавила, что большая часть ее жизни была непрожита: она в значительной степени не переживала своей жизни как девушка и женщина, поскольку не ощущала, что у нее есть женское тело. В результате она чувствовала, что никогда не будет способна “производить молоко для ребенка”. В этом последнем высказывании имплицитно содержался страх пациентки, что она никогда не сможет во всей полноте испытать со мной переживание живой сексуальной женщины и — в воображении — переживание того, что она мать нашего ребенка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Разумеется, на этих трех сессиях было множество линий размышлений, чувств и уровней смыслов, которые я проигнорировал в своем обсуждении или только коротко упомянул. Например, природа аналитической работы, особенно такой

работы, в которой мы пытаемся прикоснуться к бесконечно сложному взаимодействию бессознательных жизней анализируемого и аналитика и к постоянно меняющимся бессознательным конструкциям, порождаемым в том месте, где эти жизни “перекрываются”. Я не намеревался полностью выявлять все бессознательные значения, а хотел лишь дать какое-то ощущение ритма движений туда и обратно — переживания и рефлексии, слушания и интроспекции, мечтания и интерпретации в аналитической работе, подразумевающей использование мечтаний аналитика как фундаментального компонента аналитической техники.

Глава седьмая

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯЗЫКА В ПСИХОАНАЛИЗЕ

Вопрос использования языка в психоанализе затрагивает практически любой аспект психоанализа. В этой главе я не собираюсь быть энциклопедичным; скорее, я хочу предложить несколько предварительных соображений о том, как сознательные и бессознательные переживания аналитика и анализируемого передаются/создаются в аналитическом сеттинге (преимущественно с помощью языка). Я собираюсь говорить о том, какие последствия для психоанализа имеет мысль о том, что язык — это не просто упаковка для коммуникации, а средство, дающее жизнь переживаниям в процессе высказывания или написания.

Эта глава не является попыткой применить аналитическое мышление к области литературных исследований. Я надеюсь внести свою лепту в осознание жизни слов (и жизни в словах), возникающей в аналитической ситуации. Это не попытка заглянуть за язык, это попытка взглянуть на него.

ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО И ПСИХОАНАЛИЗ

Начать я собираюсь более чем странно для аналитической статьи: попытаюсь описать некоторые свои переживания на начальных курсах английского языка, которые посещал, будучи студентом Амхерстского колледжа. Опыт, полученный на этих курсах, остается основой моего подхода к использованию языка как внутри, так и вне аналитического сеттинга.

Вводный курс письма (обязательный для всех первокурсников) проводили преподаватели кафедры английского языка в группах, состоящих из пятнадцати студентов. Группы встречались три раза в неделю в течение учебного года. На каждом занятии от нас требовалось написать статью объемом примерно в полторы страницы (отвечающую на заданный вопрос). Курс начинался со следующего письменного задания: “Опишите ситуацию (реальную или воображаемую), в которой вы были искренни”. На каждом занятии фрагменты (сначала только по одному предложению) отдельных студенческих статей несколько раз зачитывались преподавателем вслух и обсуждались. Мы писали по три таких статьи в неделю и, как следствие, были постоянно погружены в процесс письма в течение всего учебного года. Письмо и размышления о языке стали образом жизни, подобно тому, как прохождение анализа становится “образом жизни” в течение определенного периода времени. Письменные задания продолжались:

- Опишите ситуацию, когда вы были неискренни.
- Как вы узнали, что в описанной вами ситуации вы были неискренни?
- Опишите разговор, в котором вы сказали нечто, показавшееся вам неискренним, а затем изменили слово, фразу, предложение или интонацию, и это позволило вам почувствовать, что теперь ваше высказывание стало более искренним. Что изменилось?
- Что для вас означает следующее высказывание: “Это было так непохоже на меня, как и все остальное, что я делаю”?
- Составьте письмо, в котором вы что-то искажаете.
- Составьте письмо, в котором вы пытаетесь исправить неверное понимание.
- В чем разница между двумя письмами, которые вы написали, выполняя предыдущие задания?

Это не были упражнения в психологии, семантике, риторике, лингвистике, логике или философии. Они представляли собой последовательные усилия по созданию условий, в которых каждый студент мог *слушать себя*, старающегося подбирать слова и составлять предложения, чтобы выразить/создать свои мысли и чувства при письме.

В старших классах школы я читал некоторые произведения Шекспира, Мелвилла, Оруэлла, Готорна, Хемингуэя и других авторов, но совершенно не понимал,

что делает их стиль письма хорошим, а тем более великим. (Не уверен, что я вообще когда-нибудь задумывался об этом.) Я очень отчетливо помню, как первый раз услышал звучание хорошего произведения, которое представляла собой студенческая статья. В абзаце, зачитанном вслух на вводном курсе по письму осенью 1964 г., студент-писатель описывал, как хорошо он себя чувствовал однажды утром. Проходя по дорожке перед своим домом мимо собаки, он поздоровался с ней. Я не могу точно вспомнить, какие слова употребил студент в этих предложениях, но я слышал и чувствовал в его языке биение живой жизни, какого никогда не встречал прежде. При том, что возраст рассказчика не был указан, автору не только удалось как-то передать в языке, что значит чувствовать себя хорошо, но и ухватить сущность бессознательного ощущения того, что это значит — быть мальчиком (пяти или шестнадцати лет — не имеет значения). Я был зачарован тем, что в этих предложениях не было абсолютно ничего подражательного или надуманного.

Учебный год продолжался, и становилось все труднее определять то место, где заканчивается стиль и начитается содержание. Отношения между прошлым и настоящим также становились интересными и сложными: стало казаться, что прошлое во многом было реальным для человека — настолько, насколько был реален язык, который он мог создать в настоящем.

Неясность прошлого становилась ощутимой в его упрямом отказе сводиться к словам. “Иллюзия “внутреннего искреннего Я”, выражаемого словами, казалась, рушилась. На ее месте стало возникать ощущение, что “искренность” (слово, значение которого постоянно расплывалось и ускользало) была переживанием, неразрывно связанным с тем, как человек употребляет язык, чтобы дать узнать себя самому себе или другому человеку. Я никогда не формулировал этих идей как таковых, когда учился в колледже (или в течение последующих десятилетий). Не только потому, что не мог этого сделать — я и не испытывал желания попробовать.

Ретроспективно кажется, что одним из предметов, с которыми мы экспериментировали в этом вводном курсе по чтению и письму, было взаимное проникновение переживаний человека, его попыток передавать эти переживания средствами языка и того воздействия (на себя и других людей), которое слова и предложения оказывали при этой попытке. Эксперимент в письме, чтении и слушании, который я только что описал, имеет много общего с экспериментом в думании, чувствовании и общении, который составляет сердцевину аналитического переживания. На аналитическом сеансе мы редко применяем письмо как средство выражения, но используем слова и наши развивающиеся способности к слушанию языка (как языка пациента, так и нашего собственного) в его высказанных и невысказанных формах.

“ЭТО ДЕЛАЕТ УХО”

В попытке развития словаря, посредством которого можно думать об использовании языка в психоанализе и обсуждать его, я хотел бы обратиться к случаю, описанному литературным критиком Ричардом Пуарье (Poirier 1992), произошедшим с его коллегой, преподавателем и критиком Ройбеном Брауером. Случай отражает ту эстетическую чувствительность, которая присуща подходу Брауера к обучению студентов чтению поэзии, а также подходу к психоанализу, который я предлагаю:

Как-то [Брауер] начал свой курс [для студентов, изучающих английскую литературу] с упражнения с коротким стихотворением Эдвина Муира, которое, по выражению одного его раздраженного молодого коллеги, “просто не складывалось в единое целое”. Это подтверждало мудрость выбора, сделанного Брауером, который просто сказал: “Ну, давайте посмотрите, что мы можем с этим сделать”. “Сделать с этим”, а не “вывести из этого”. Вопрос, который он любил задавать, был прост: “Как это — читать данное стихотворение?” И все же это самый трудный из вопросов, вряд ли поощряющий к поиску целостных образов.

Вопрос “Как это — читать данное стихотворение?” сосредоточен на *переживании чтения*, переживании того, как это — читать, слушать и быть тем, к кому обращается говорящий/пишущий. Я считаю, что существует важное и интересное взаимное пересечение вопроса “Как это — читать данное стихотворение?” и вопроса: “Как это — быть с данным пациентом?”. Для Брауера переживание чтения — это в основном не вопрос раскрытия “целостных смысловых образов”, спрятаных в тексте, которые должны быть дешифрованы, декодированы или выявлены; скорее акцент делается на создании собственных слов и предложений, которыми можно описать настоящий момент, созданный столкновением автора и читателя. Таким же важным, как процесс понимания (как в психоаналитическом переживании, так и в переживании чтения), как минимум, является процесс “не знания слишком многого” (Winnicott 1971). “Тораздо лучше практиковать искусство *не приходить* [к определенному значению]” (Poirier 1992).

Когда стихотворение, роман, пьеса, эссе написаны, вопрос авторства и (сознательного) намерения автора теряет свое значение, поскольку читатель становится автором своих реакций на то, что было сказано или написано. Например, стихотворение, будучи написанным (и строки, будучи произнесенными), сделало свою работу, и теперь читатель/слушатель становится творцом значений, автором своего собственного смысла стихотворения, как он его переживает (и как он изменился под его влиянием), а иногда пытается найти слова, чтобы описать свое переживание. Читатель/слушатель должен каким-то обра-

зом сделать писание/чтение своим собственным, или, говоря словами Брауера, должен “увидеть, что он может с этим сделать”. В процессе письма поэт должен увидеть, что он может сделать с языком, создавая нечто, что схватывает и в каком-то смысле создает в момент своего “выражения” — нечто, что ощущается как человеческое “в определенных обстоятельствах” (Генри Джеймс, Портрет дамы, 1881).

Переживание писания и чтения — совсем не то же самое, что переживание вовлеченности в анализ. Попытка установить буквальное соответствие между тем и другим приводит к определенному редукционизму, который урезает суть каждой из этих форм человеческой деятельности. Такое сведение анализа к разновидности “устной литературы”, а аналитического слушания — к форме литературной критики, совсем не то, что я имею в виду, когда пытаюсь найти аналитическое применение мысли преподавателей литературы и литературных критиков. Меня интересует, как такие люди думают и говорят о встречах с символическими выражениями/творениями других людей, переживающих себя людьми.

Брауер адресует нас к метафоре: “Как это — читать данное стихотворение?”. Задавая этот вопрос, он просит нас внести в стихотворение нечто новое, то, чего в стихотворении еще не было, но, по-видимому, вызвано его воздействием на нас. Таким образом, стихотворение активно вовлекается: мы что-то делаем с ним, в противоположность его пониманию*.

Аналитическая беседа требует от аналитической пары развития метафорического языка, адекватного порождению звуков и значений, отражающих то, как это — думать, чувствовать и физически переживать (короче говоря, быть настолько живым человеком, насколько возможно) в данный момент**. Такое использование языка не является врожденной способностью; оно требует “тренировки уха”***, которую аналитик обеспечивает с самой первой встречи. Аналитик, пытающийся избежать тяжеловесной дидактики, в каком-то смысле очень похож на преподавателя английского языка в своих попытках усилить способности пациента к настройке на тонкости языка и использовать

*Мне вспомнился комментарий Биона, адресованный Джеймсу Гротштейну, проходившему у него анализ, после того, как Гротштейн ответил на интерпретацию Биона: “Я понимаю”. Бюн сделал паузу, а потом спокойно сказал: “Пожалуйста, постарайтесь не понимать (understand). Если хотите, поднимайте (superstand), обнимайте (circumstand), “возле-нимайте” (parastand), но, пожалуйста, постарайтесь не понимать” (Grotstein, 1990).

**Создание аналитических “метафорических высказываний”, образующих интерпретации, не должно быть навязчивым занятием, направленным на демонстрацию ума аналитика посредством слов. Ф.Р. Ливис (F.R. Leavis, 1947), обсуждая Мильтона, вводит полезное различие между проявлением “чувства к словам”, и способностью создавать чувство в словах”.

***Термин Притчарда “тренировка уха” происходит от выражения, использованного Робертом Фростом в письме 1914 г.: “Это делает ухо. Ухо — единственный настоящий писатель и единственный настоящий читатель. Я знал людей, которые могли читать, не слыша звуков, они были наиболее быстрыми читателями. Мы называем их “читатели глазами”. Они могут извлекать смысл, бросив взгляд. Но они плохие читатели, потому что теряют лучшую часть того, что хороший писатель вкладывает в свои слова” (Frost 1917a; цит. по Pritchard 1991).

язык таким образом, который полнее всего охватывает/творит его мысли, чувства, восприятия и т.д. в аналитической беседе.

На первой встрече с анализируемой я сказал: “Я поражен тем, что вы описали наш первый телефонный разговор так, будто вы не были его частью”. Я говорил о ее особом способе использовать язык, который передал мне, что она чувствовала во время нашего телефонного разговора (и имплицитно говорил ей о том, что она чувствует в данный момент). Анализируемая спросила: “Что вы имеете в виду?” Я сказал, что, по-моему, она все еще испытывает очень сильную тревогу по поводу того, сможет ли стать частью взаимодействия со мной. Пациентка не ответила прямо, но продолжила говорить в такой манере, которая, как я постепенно осознал, имитировала мою манеру речи, например, изменяющийся ритм. У меня возникло странное чувство, что я вижу свое отражение в зеркале, при этом остро осознавая его иллюзорный характер. Я решил не привлекать внимания пациентки к тому, что она бессознательно меня имитирует, поскольку предполагал, что это вызовет у нее болезненное чувство разобщения. Вместо этого я слушал “истории” пациентки (то, как она представляла мне свою историю). Пока она довольно скучно представляла себя, я обратил внимание, что мой ум блуждает. Я обдумывал свое расписание на сегодня и силился вспомнить, с кем должен встретиться в один из дневных часов. В конце концов я сказал пациентке, что мне трудно ощутить, как это — быть ею в тех историях, которые она мне рассказывает. Пациентка сказала, что знает о своей привычке “закрывать покрывалом”, но это признание только скользнуло вдоль того, что, как я подозревал, было гораздо более тяжелым чувством: то, что спрятано, — это не ее присутствие, а ее отсутствие. В конце этого часа и в последующие часы я обсуждал с пациенткой идею ее спрятанного отсутствия и, связывая это с ее вопросом: “Что я имею в виду?”, — предположил, что он мог отражать тревожные (бессознательные) попытки укрыть от себя и от меня болезненное чувство “неприсутствия”.

Я считаю, что анализ (хотя обычно он не является явно дидактическим) обеспечивает один из наиболее интенсивных и строгих опытов “тренировки уха”, который только создан человеком. (Аналитик должен постоянно осознавать опасность, что подобное “обучение” может превратиться в своего рода внушение (indoctrination). До некоторой степени обучение анализируемого говорить “языком” (tongue”) [Balint 1968] аналитика является неизбежной чертой любого анализа, и его следует рассматривать как аспект переносно-противопереносного переживания.)

В попытке описать, что я имею в виду, употребляя термин “тренировка уха”, я хотел бы кратко обсудить опыт вслушивания в особенности языка литературного фрагмента, в которого начинается “Портрет дамы” Генри Джеймса (James 1881):

“В определенных обстоятельствах лишь немногие часы жизни приятнее, чем час, посвященный церемонии, известной как послеполуденный чай”.

Это исключительное предложение (может быть, слишком исключительное), в котором каждое слово выбрано столь же заботливо, как хороший шеф-повар на раннем утреннем базаре выбирает только те травы и овощи, которые обладают совершенным размером, формой, цветом, фактурой и запахом. Слова “в определенных обстоятельствах” образуют замечательное выражение для начала романа: это в точности то самое, для чего написан этот роман — чтобы создать голос, который будет говорить особым языком о том, что такое жизнь “в определенных обстоятельствах”. Но мы уже предупреждены о том, что это не любой голос или любая жизнь, об обстоятельствах которой будет рассказано; это жизнь, проживаемая кем-то, кто начинает свой отчет этой элегантно, щегольской фразой, которая покачивается на самой грани претенциозности. Возможно, она уже больше чем покачивается, она, возможно, уже начала соскальживать к самодовольству. Эффект сильный и интригующий.

Читаем дальше: “В определенных обстоятельствах лишь немногие часы жизни приятнее...” Голос, тон и томный шаг поддерживаются: “...лишь немногие часы жизни приятнее...” Слова скатываются с языка человека, который абсолютно легко обращается с языком и смакует звуки, это действительно прекрасные звуки. Слово “приятны” (“agreeable”) — безупречно. Это не могло быть “enjoyable”, “pleasurable”, или “relaxing”. Слово “agreeable” — более взвешенное, более зрелое, более цивилизованное.

Это предложение (в целом очень искусно сработанное) завершается так: “...приятнее, чем час, посвященный церемонии, известной как послеполуденный чай”. Описанный час — это не просто время, когда человек пьет послеполуденный чай, это “час, посвященный церемонии, известной как послеполуденный чай”. Этот “час” (hour) — возможно, игра со словом “наш” [our] уже не является мерой времени; это мера развития западной цивилизации (достигшей своей вершины в английской культуре). Этот час не просто “проводится” или “проходит” определенным образом, он, согласно этому историческому указанию, “посвящен” не “послеполуденному чаю”, но “церемонии, известной как послеполуденный чай”. Никто не станет задавать невежливый вопрос: “Известной кому?” Это известно, а если кому-то неизвестно, ему не нужно дальше читать. “Нас” приглашают улыбнуться вместе с говорящим, так как

мы — часть тех уз, которые объединяют нас в совместном знании богатой символики переживания, у которого нет аналога.

Но в то же время в этом есть самоирония и мягкая насмешка над читателем — в том, как говорящий описывает “приятную” церемонию словами, выбранными так же тщательно, как — это можно представить — он выбрал бы себе пирожное с блюда, которое мы мысленно помещаем перед ним. Этот голос, несомненно, голос культуры и вкуса, голос такой знающий, такой цивилизованный, такой уравновешенный, что в нем очень трудно локализовать человека. Говорящий приглашает читателя, как добрый хозяин приглашает гостя, чтобы тот поделился с ним любовное (очень английское) ворчание на самого себя, которое мы слышим в тоне его голоса. Но здесь есть и ум, столь неистовый, что читатель может ощутить вызов (даже опасность), что его пронзит (неизвестно откуда) острый взгляд, который сейчас кажется таким сердечным.

Здесь в языке постоянное движение, тайна, очарование (как в привлекающем, так и в манипулирующем значении слова “очарование”) и ощущение того, как опасно быть вместе с таким нелокализуемым умом (едва ли даже человеком). Это начальное предложение не выглядит сатирическим комментарием по поводу последнего отростка самой дальней ветви эволюционного дерева. Скорее, это такое использование языка, в котором человеческое переживание не только описывается, но и создается в том воздействии, которое написанное оказывает на читателя.

Чтение и размышление об этом начальном предложении не предполагает попытки проникнуть “за” язык или “под” слова в поиске скрытого смысла: скорее, это акт обнаружения того, как используется язык. Значение заключено в языке и в том воздействии, которое он оказывает. Мы слушаем язык — не через язык. Как будет сказано ниже, именно это направление является одной из важных линий развития аналитической техники: в современной аналитической теории и практике все больше усилий направлено на то, чтобы услышать не только то, *что* пациент говорит, но и *как* он говорит и как воздействует на аналитические отношения в каждый данный момент (см., напр., Joseph 1975, 1982, 1985; Malcolm 1995; Ogden 1991a; Spillius 1995). Аналитики все больше пытаются вслушиваться в смыслы, воздействия, порождаемые тем, как пациент использует язык, в дополнение к его семантическому содержанию. В наше время меньше внимания уделяется тому, чтобы пытаться заглянуть “за” то, что говорит пациент, ради истории, скрытой за поверхностной историей, ради бессознательного значения “под” сознательным. Бессознательное — это не “подсознательное”, это один из аспектов неделимой целостности сознания. Подобно этому смысл (включая бессознательный смысл) находится в используемом языке, не *под* ним и не *за* ним. (Фрейд [Freud 1915] считал термин

“подсознание” “неправильным и ведущим в ложном направлении”, поскольку бессознательное не лежит “под” сознанием.)

В этом предложении из “Портрета дамы”, которое мы только что обсуждали, мы должны позволить себе не только “унестись с написанным” (в основном пассивное описание переживания чтения), но и быть активно *увлечены написанным* (и писателем, и [воображаемым] говорящим). Мы должны сотворить говорящего (и нас самих по отношению к нему), тогда как писатель средствами языка создает для нас “обстоятельства”, с помощью которых мы сможем это сделать. Такова природа человеческих переживаний, которые порождаются через слова и посредством слов. Я полагаю, что это форма увлеченности (эстетическое переживание), имеющая много общего с тем, как мы “используем” себя как слушающих, говорящих, наблюдающих и участвующих в аналитической встрече. Если бы мы не могли удивляться и радоваться тонкости и сложности души и способам использования языка в аналитическом взаимодействии, я думаю, что практика анализа легко могла бы превратиться в очень тоскливый способ времяпрепровождения.

В заключение этого раздела полезно сделать несколько коротких комментариев о том, что является уникальным для аналитической беседы (и что можно понимать как “аналитическую эстетику”). Существуют значительные области сходства и важные различия между литературной эстетикой и аналитической эстетикой. Я считаю, что для литературы существенна попытка уловить/создать что-то в языке, что является важным для переживания своей жизни как человека и радости от игры словами и предложениями, посредством которой это должно происходить. Схватывание/создание человеческого переживания в языке является наиболее важным и для психоанализа. Аналитическая эстетика также в значительной степени определяется терапевтической функцией психоанализа. Роли аналитика и анализируемого — и вследствие этого то, как каждый использует язык, говоря с другим, — структурированы целью их совместного бытия — попыткой помочь анализируемому достичь длительных психологических изменений, которые позволят ему стать человеком в более полной мере.

Неспособность анализируемого вести более полную (более “человеческую”) жизнь по сравнению с той, которую он ведет в данный момент, часто является следствием того, что он полагается на (бессознательные) методы защиты от реальных и воображаемых опасностей. Точнее говоря, задача аналитика — помочь анализируемому стать человеком во всей полноте его проявлений — включает облегчение попыток пациента (хотя и амбивалентных) переживать (и проигрывать) более широкий круг мыслей, чувств и ощущений, которые переживались бы им как его собственные и ощущались как порождаемые в

контексте его собственных настоящих и прошлых отношений с другими людьми (включая аналитика).

Если учитывать концепцию — то, что представляет собой работа аналитика и анализируемого, — то аналитическая беседа не является уже просто беседой, в которой предпринимается попытка уловить/создать в словах нечто из особого переживания “быть человеком”. Скорее, это разговор, прежде всего стремящийся создать язык, адекватный для определения и описания *природы тревоги* в ее “болевых точках” (“points of urgency”) (Strachey 1934) в переносе-противопереносе, которая препятствует анализируемому переживать более широкий спектр и яркую игру мыслей, чувств и ощущений в данный момент. Это тревога (психическая боль), побуждающая и направляющая движение аналитического диалога. Аналитическая техника руководствуется попытками говорить с анализируемым о том, на что это похоже — аналитику и анализируемому быть вместе в данный момент, она делает акцент на попытке описать наиболее насущные страхи, ограничивающие способность анализируемого переживать данный момент во всей полноте человеческих проявлений.

ЯЗЫК АНАЛИТИКА

Обращаясь к использованию аналитиком языка в аналитическом диалоге, я рассматриваю этот вопрос с точки зрения, отчасти противоречащей идее о том, что цель аналитика при использовании им языка — быть таким живым, точным и проясняющим, как только он может. Рассматривая эту концепцию аналитической задачи как частичную правду, я чувствую, что она должна находиться в напряженном отношении с другой частичной правдой: для аналитика существенно важно использовать язык, который вызывает особую форму возбуждающей, иногда сводящей с ума и почти всегда приводящей в замешательство неясности. В анализе, как и в поэзии: “Речь — это не просто неприличное, грязное молчание, / которое очищено. Это молчание ставшее еще неприличнее, грязнее” (Stevens 1947). Язык аналитика должен включать в себя то, что еще не имеет утвердившегося смысла. Смысл постоянно превращается во что-то новое и в этом процессе он постоянно уничтожает себя (подсекая свои собственные претензии на определенность). Существенно важно, что язык аналитика воплощает в себе напряжения вечного процесса борьбы за порождение смысла, на каждом шагу вызывая сомнение в смыслах, к которым “пришли” или которые “выяснили”.

Пациент, около шести месяцев проходящий анализ, недавно сказал мне нечто, что я воспринял как высшую похвалу, хотя он не хвалил меня сознательно. “Вы не говорите по-английски. То, что вы говорите, ясно до тех пор, пока я не начинаю думать об этом. Это не похоже на какой бы то ни было английский язык, который я слышал раньше. Вы выбираете свои слова очень тщательно, и в каком-то смысле они необыкновенно точные, но по какой-то причине они очень путают. Я почти всегда чувствую, что вы сказали больше, чем хотели сказать”.

Аналитик полагается на язык, чтобы расстроить (обеспокоить, сбить с толку, смутить, возмутить) данность — данность сознательных убеждений и повествований пациента, с помощью которых тот создает иллюзии постоянства, определенности и фиксированности переживаний себя и других людей, которые населяют его внутренний и внешний миры. Центральной частью “данности”, которая разрушается языком, является данность понимания пациентом и аналитиком того, что “происходит” в аналитических отношениях.

Язык имеет наибольшую силу, когда он разрушает, не приводя к инсайтам/пониманиям, а создавая возможности — “волны и ряби потока стремлений” (Emerson 1841). Язык аналитика создает рябь на “потоке стремлений” в попытке помочь аналитику и анализируемому вырваться из замкнутого круга, в который они попали.

Аналитическая пара никогда не добивается полного успеха в этом предприятии, но борется в языке и с его помощью, чтобы преодолеть саму себя (свою собственную склонность к кружению).

Безжизненность аналитического языка

Разнообразие форм безжизненности аналитического языка почти бесконечно. Одной из наиболее распространенных форм безжизненного языка является язык, ограниченный догмами и идеологическими пристрастиями. Когда идеологические пути для аналитика являются доминирующими, аналитик часто “усыновляет” язык своей аналитической “школы” (или усыновляется им). Аналитический язык, который является идеологическим, перестает быть живым, поскольку ответы на возникающие вопросы известны аналитику с самого начала, и функции языка редуцируются до передачи этого знания анализируемо-

му. В таких обстоятельствах язык не является искусством, которое “живет... экспериментом, неопределенностью, разнообразием попыток” (James 1884). Например, две следующие интерпретации сделанные аналитиками, принадлежащими к различным “школам” психоанализа, были представлены мне в ходе консультации. Пациент одного аналитика постоянно пропускал мимо ушей, отвергал или игнорировал практически все его интерпретации, и тот сказал ему: “Вы завидуете моей способности создавать связи в уме и гневно нападаете на любую мою интерпретацию, поскольку она отражает тот факт, что диалог, половой акт, происходит где-то внутри меня, вы не можете это контролировать и чувствуете свое бессилие”. Другой аналитик в ответ на постоянные опоздания пациента на сеансы, констатировал: “Вы [анализируемый] никак не упомянули тот факт, что снова опоздали сегодня на нашу встречу. Кажется, вы не считаете это способом нанести поражение мне и анализу”. Являются или нет такие интерпретации точными, своевременными, адресованными ведущей тревоге в переносе и т.д. — они академичны. Их язык настолько затхлый, что не способен обратиться к переживанию, к которому он призван обратиться, т.е. к бессознательным конфликтам и тревогам пациента как они экстернализируются и переживаются в переносе-противопереносе.

Язык этих интерпретаций в основном отражает недостаток воображения у аналитика (и, следовательно, заявляет об этом). Аналитик, который так говорит, утратил способность оригинально мыслить и говорить собственным голосом; он передал свой ум и свой язык кому-то другому (реальному или воображаемому) и часто совершенно не осознает, что он сделал это.

Язык аналитиков в этих интерпретациях отражает тот факт, что они говорят заемным голосом, а сами немые. Такие коммуникации пугают и могут привести к тому, что анализируемый попытается оградить аналитика от осознания того, что тот в каком-то смысле “лишился ума”. Анализируемый может бессознательно пытаться защитить аналитика от подобного осознания, научившись говорить таким же клишированным, стереотипным языком. В таких обстоятельствах интерпретации теряют всю свою жизненность и вместо этого звучат как заранее “расфасованные” аналитические теории, доставляемые от никого конкретно никому конкретно.

Один раз собой моего воображения проявился в том, что я долгое время мыслил банально и использовал готовые языковые формулы. В ответ анализируемый сказал мне, что анализ никуда не идет уже в течение нескольких недель, но не это его беспокоило. Из опыта нашей совместной работы и своего предшествующего опыта в анализе он знал, что не каждая сессия и даже не каждая неделя анализа бывают важными или интересными. “Однако что меня беспокоит, так это мое ощущение, что вас это не волнует”. В этом случае интерпретация пациента была не просто точной — то, как он употреблял язык, позволяло ему

передать все то, что отсутствовало. Он не только говорил мне — он *показывал мне* своими словами, что означает живое использование языка. Презрение и снисходительность, которыми сочилось его “милостивое прощение” неизбежных периодов застоя в анализе, и поразили, и смутили меня.

Обычно пациент был очень немногословен, поэтому такое внимание к словесным деталям этого относительно длинного заявления само по себе было поразительным событием, нарушившим привычный ритм нашего разговора. Формулирование этого высказывания проходило в драматическом напряжении. Он заставлял меня ждать, пока его предложения наберут скорость: это меня не беспокоит, меня беспокоит то, на что я собираюсь указать у вас. Подобное высказывание могло показаться резким, однако я не воспринял эти замечания пациента как вызывающие. Я чувствовал, что пациент пытается говорить со мной о чем-то, что действительно пугает его и сводит с ума.

Я был смущен и унижен его замечаниями, но более всего “разбужен” ими. Несколько раз мне приходила на ум фраза, что “меня застали без штанов”. Я вспомнил о том, что семья анализируемого собиралась на регулярные “встречи”, на которых его родители (как он это переживал) разрушали сам речевой акт, используя слова для “игры в игру ума”. Целью разговора было указать пациенту на недостаток ума (отец указывал ему на то, как он неправильно употребляет слова) и раскрыть бессознательные мотивы пациента (например, мать “интерпретировала” его желание занять место отца как главы семьи).

Я понял замечание пациента отчасти как отражение его идентификации с садистским родительским использованием “инсайта” и как проективную идентификацию, в которой он вызвал у меня ощущения смущения, обнажения и кастрированности. Не менее важно и то, что интерпретация пациента казалась мне попыткой вновь оживить анализ, пробудив (создав) во мне ощущение, как можно испортить речь, сделав ее не только бесполезной, но и разрушительной. В этом случае мои собственные интерпретации вначале не показались мне садистскими. Они казались имитацией анализа, потому что отражали тот факт, что я эмоционально не присутствовал, а лишь имитировал это, используя язык формул. Позже в процессе анализа я оценил то, как мое бегство в “игру в анализ” (отразившееся в употреблении языковых формул) представляло собой бессознательную идентификацию с садистским/самозащитным способом, которым пациент мучил своих родителей в детстве и продолжал мучить свои внутренние родительские объекты (укрывая себя от них). Имитируя связь с ними, он мог (в бессознательной фантазии) стать невидимым и недоступным и вызывать у них бессильную ярость. В этом анализе я невольно участвовал в бессознательной intersubjective конструкции (“аналитическом третьем”), в которой я переживал и вел себя (например, употреблял языковые формулы) так,

что это соответствовало недоступному/мучающему/самозащитному аспекту внутренних объектных отношений пациента.

Мертвый язык (например, стереотипный, клишированный, слишком напыщенный, авторитарный язык) обычно отражает тот факт, что аналитику в тот момент нечего сказать анализируемому собственным голосом, своими словами. Независимо от того, является ли источником проблемы аналитика его догматическая привязанность к определенной аналитической школе или она отражает его неосознанное участие в драме переноса-противопереноса, как в только что представленном клиническом примере, — в любом случае это выглядит так, как будто у аналитика не хватает собственного ума, чтобы создать мысль и породить язык, отличающийся многообразием возможных смыслов. Создание языка, на котором можно было бы говорить своим голосом само по себе является актом свободы, представляющей собой необходимое условие для аналитического сеттинга, в котором могут произойти психологические изменения: “Эту борьбу за словесное сознание в искусстве не следует прекращать. Это важнейшая часть жизни. Это не просто приложение теории. Это страстная борьба за сознательное бытие” (Lawrence 1991). Я полагаю, что аналитик должен активно бороться с языком в попытке породить свои собственные мысли, свои фразы и свой голос, которым он мог бы их высказывать. Борьба за передачу собственного переживания собственными словами, своим голосом — это важнейшая часть того, что составляет жизнь в аналитических отношениях.

СОЗДАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЭФФЕКТОВ

В последнем разделе этой главы я хотел бы сосредоточиться на некоторых способах добиваться таких языковых эффектов, которые служат главным средством передачи бессознательного переживания в аналитическом сеттинге. Эффекты, создаваемые *в языке*, конечно, сосуществуют с использованием языка для называния, описания и других способов разговора о переживании. Говоря о языковых эффектах, я делаю акцент на той грани употребления языка, на которой создание и передача смыслов/чувств являются непрямими, т.е. относительно независимыми от того, что говорится (на уровне семантического содержания языка). Такие языковые эффекты всегда находятся в движении, в процессе возникновения, “всегда на крыле, их, так сказать, можно увидеть только в полете” (Wm. James 1890).

Немногим удавалось так красноречиво, как Уильям Джеймс (James 1890) в “Принципах психологии”, описать то, как язык бывает не способен передать

смысл (особенно аффективные смыслы), когда он сосредоточивается на том, что говорится, в противоположность тому, что делается. Джеймс обсуждает то, что он называет тягой к использованию “субстантивов” в языке (существительных, вокруг которых организуются смыслы предложений). Чувства, особенно не имеющие названия (“все *немые* или анонимные психические состояния”), склонны теряться “в мыслях “о” том, или “об” этом предмете, вялое слово “о”, поглощает все их тончайшие особенности своим монотонным звучанием” (James 1890). Джеймс считал, что переживание человека схватывается/ выражается в языке не столько через силу его “субстантивов” — названия или описывания (речи “о”), но более косвенно — через элементы языка (точнее, в языке), который вносит вклад в создание ощущения движения и перехода, “чувства отношения, движущегося к своему определению”. Это — “переходные части” языка, “области полета”, которые ближе всего подходят к уловлению чего-то из фактуры и жизни чувств и движения “потока мышления”:

“Нет ни союза, ни предлога, ни наречия, ни синтаксической формы, ни интонации голоса человека, которые не выражали бы того или иного оттенка того, что мы в определенный момент действительно чувствуем, того, что существует между большими объектами [субстантивами] нашего мышления...”

Пытаясь преодолеть рамки употребления языка, сосредоточенного на содержании, Джеймс предлагает:

“Мы должны были бы высказывать чувство *и*, чувство *если*, чувство *но*, чувство *через* так же легко, как мы высказываем... чувство *холода*. Но мы не можем этого, настолько глубоко укоренилась у нас привычка осознавать существование только субстантивных частей, что язык почти отказывается предоставить себя для любого другого использования”.

Таким образом, Джеймс пытается исследовать пути, которыми можно использовать язык, чтобы *сделать* то, что язык не может сказать. Аналогично этому, через эффекты, создаваемые в языке, в аналитическом сеттинге создаются и передаются смыслы/чувства, лежащие за тем, что говорится. Именно этот аспект аналитической коммуникации находится в центре разработки и развития концепции Кляйн (Klein 1952) о переносе как о “целостной ситуации” (total situation), которую осуществляют Джозеф (Joseph 1975, 1982, 1985) и другие исследователи. Все шире признается, что для того чтобы “уловить дрейф” (Freud 1923a) мира бессознательных объектов анализируемого, мы должны мыслить в терминах *целостных ситуаций*, переносимых из прошлого в настоящее”, в дополнение к переносу специфических “эмоциональных защит и объектных отношений (Klein 1952). Так Кляйн начинает сдвигать фокус на-

шего теоретического и технического отношения к переносу с содержания того, что переносится (с Джеймсовых “субстантивов”) к *целостности (totality) эффекта* переносного переживания в аналитических отношениях и на аналитические отношения. Эти эффекты в значительной степени создаются использованием пациентом языка “вместе с тем и помимо того, что он говорит” (Joseph 1985)*.

В приводимом ниже клиническом обсуждении я попытаюсь передать ощущение того, как языковые эффекты порождаются в аналитическом сеттинге.

Анализируемая, преподавательница и ученый, около 40 лет, “завершила” два предыдущих анализа, когда аналитики стали гневаться на нее и сообщили ей, что она неанализируема. Пациентка пользовалась большим уважением коллег, однако получала от работы мало удовольствия. Страстью ее жизни были музыка и живопись, которые занимали почти все ее свободное время.

Пациентка заполняла сессию за сессией историями о событиях своей жизни и, казалось, не замечала того, что я говорю очень мало. Мои интерпретации она вежливо терпела. Анализируемая чувствовала облегчение, когда я заканчивал говорить то, что должен был, и она могла вернуться к “заполнению меня” тем, о чем говорила сама. Она почти дословно пересказывала мне истории, которые уже рассказывала много раз. На сессии, происходившей примерно через шесть месяцев после начала анализа, я сказал пациентке: она должна чувствовать, что я не слушаю ее и очень мало помню из того, что она мне говорила. Пациентка, как обычно, проигнорировала мои слова и вернулась к рассказу, который я “перебил”.

Мне потребовалось около года, чтобы кое-что понять в том, как пациентка использовала язык — не для того чтобы рассказать мне о том, что она думает, чувствует, воспринимает, как ощущает свое тело и т.п., но для создания эффектов *в языке*: переживания своей укутанности в чистые ощущения звучащих слов. В то же время такое использование языка — противопереносный аспект бессознательной переносно-противопереносной конструкции — вызвало у меня чувство крайней бесполезности и непригодности для пациентки. Когда я пришел к пониманию этого измерения переноса-противопереноса (относясь к языковым эффектам как средствам понимания бессознательных переживаний пациентки), то ограничил свою роль (потенциальной) ролью человека-посредника, в присутствии

*Я считаю, что перенос как целостную ситуацию можно более точно понимать как “перенос-противоперенос как целостную ситуацию”.

которого (почти неощутимом) пациентка могла вступить в отношения с “аутистической формой” (Tustin 1984; см. также Ogden 1989a,b). Все предыдущие опыты отношений пациентки с аутистическими формами (например, живопись и слушание музыки) проходили в изоляции.

После трех лет анализа появились мимолетные указания на то, что у пациентки развивается смутное осознание моего присутствия. Например, в этот период она сделала мне двусмысленный комплимент, похвалив за мою замечательную способность слушать. Я воспринял это замечание как косвенный способ выразить то, что до сих пор я сказал очень мало ценного для нее. Мне показалось, что анализируемая бессознательно просит меня энергичнее возражать против ее добровольной изоляции в собственном мире, находящемся под властью ощущений (даже если она испытывала благодарность ко мне за то, что я до сих пор не вмешивался в ее “самоукачивающую деятельность”). Через некоторое время я описал ей свое ощущение, что она использует слова для того, чтобы *не говорить со мной* и в действительности — чтобы не жить со мной. Я добавил, что укутывание себя в ощущение звука собственного голоса, казалось, помогает ей ограничить себя серией чисто физических ощущений. Кажется, что она развила в себе способность превращаться в такую плотную структуру, что практически любое движение, любая жизнь почти угадали.

В анализе этой пациентки решающее значение имело то, что я смог понять: переносно-противопереносное значение заключено прежде всего в эффектах, создаваемых тем, как пациентка использовала слова не для коммуникации, не для мышления, не для создания/передачи чувств, а для порождения необходимой, но практически безжизненной, изолирующей сенсорной среды.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Центральная задача психоанализа состоит в том, чтобы развивать речь, стараясь сделать ее адекватной задаче схватывания/создания переживания того, что это значит для аналитика — быть с пациентом и что это значит для пациента — быть с аналитиком в данный момент. По моему опыту, язык пациента и

аналитика мертв (а мышление и общение прекращаются), если то, как они употребляют язык, передает определенность — в противоположность тенденции, знание — в противоположность пробующему, едва уловимому ощущению, фиксацию — в противоположность движению и переходу.

Важной особенностью новейшей истории психоанализа является все большее признание аналитиками значимости того, что *эффекты, создаваемые в языке* (что язык пациента *делает* “вместе с тем и помимо того”, что он говорит), представляют собой важное средство передачи бессознательных переживаний.

Глава восьмая

СЛУШАНИЕ: ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ФРОСТА

Иосиф Бродский (1995а) говорил, что поэзия дает прозе “великую дисциплину”. Я бы добавил, что поэзия дает великую дисциплину для аналитического слушания. В этой главе я собираюсь рассмотреть то, как язык создает поэзию в трех стихотворениях Фроста. Меня интересует не столько то, “о” чем то или иное стихотворение, сколько то, что есть это стихотворение. Я собираюсь обсудить способы создания языковых эффектов и то, как все эти эффекты вместе создают уникальное переживание, которое возникает у читателя (с помощью поэта) при слушании стихотворения.

Я написал эту главу, чтобы получить удовольствие от чтения поэзии и с наслаждением сказать о ней, и предлагаю читателю прочесть ее именно так. Это глава, написанная без заботы о ее “полезности” для аналитического читателя. (Я оставляю читателю возможность при желании устанавливать какие-то связи между переживанием слушания поэзии и языка, создаваемого в аналитических отношениях.) Если эта глава окажется без претензий на “полезность”, мы с читателем вольны делать с этим все что угодно или совсем ничего. Поэт А.Р. Аммонс (Ammons 1968) сказал об этом гораздо лучше, чем могу я, сравнив поэзию с прогулкой:

“Вы можете спросить, для чего нужны прогулки... Прогулки бесполезны. Так же и стихи... Прогулка ничего не означает, и это способ сказать, что в какой-то степени она значит все, что вы можете заставить ее означать, и всегда больше, чем вы можете заставить ее значить... Только бесполезность достаточно пуста, чтобы в ней содержалось столько пользы... Только бесполезность может позволить прогулке быть полностью самой собой”.

Я не стану пытаться проникнуть “за” язык, который обсуждаю, но попытаюсь проникнуть в язык настолько глубоко, насколько способен, и позволю ему так же глубоко проникнуть в меня. Я собираюсь экспериментировать с разнообразными способами думать и говорить о трех стихотворениях Фроста. Для меня особый интерес представляют эффекты, создаваемые звучанием и значением этих слов и предложений и способом использования языка для создания этих эффектов. Другими словами, я собираюсь обсудить, “как это — читать стихотворение” (Brower, цит. по Poirer 1992, p. 184) и как стихотворение “вербует” меня и как я “вербую” стихотворение по мере того, как я “говорю строчки” (Frost 1962).

Перед тем как обратиться к самим стихотворениям, я хотел бы кратко прокомментировать две взаимосвязанные темы: изменения во взглядах на поэзию Фроста после его смерти в 1963 г. и трудности, создаваемые голосом рассказчика в поэзии Фроста. Фрост достиг широкого признания как поэт, включая награждение четырьмя Пулицеровскими премиями, и литературные критики сходились во мнении, что он “народный поэт”, культурная фигура, сопоставимая с Карлом Сандбергом или Эдгаром Ли Мастерсом. С их точки зрения, его популярность была обязана близости к народу и легко запоминающимся строкам (например, “Хорошие ограды делают хороших соседей”), что делало его поэзию доступной для широкой публики. Качество поэзии Фроста снижалось по мере роста его популярности (Jarrell 1953, Pourier 1977). Как будто в последние два десятилетия своей жизни он придумал формулу, которую использовал снова и снова в ущерб своей поэзии. Поэтому литературные критики разжаловали Фроста в разряд “менее чем великих” (“less than great”) поэтов.

Лишь постепенно в течение последних сорока-пятидесяти лет критики, ученые и поэты (включая Одена, Бродского, Хини, Джарреля, Ловелла и Уилбура) стали рассматривать Фроста иначе. Рэндалл Джаррел (Jarrell 1953) был среди первых поэтов и литературных критиков, которые обнаружили и убедительно описали “другого Фроста”. В одном из своих емких (и более чем снисходительных) однострочий Джаррел замечает: “Обычные читатели думают, что Фрост — это живой величайший поэт и любят некоторые из его лучших стихотворений почти так же сильно, как и некоторые из его худших”. Обращение Джаррелла к “обычному читателю” было в такой же степени адресовано “обычным” литературным критикам и ученым, как и “обычным” представителям широкой публики. Почти умоляюще Джаррел просит читателя действительно прочитать стихотворения перед тем, как отвергнуть их: “Ничто из того, что я говорю об этих стихотворениях, не дает вам понять, каковы они или каков этот самый Фрост; если вы прочтете их, вы поймете”. Джаррел завершает два своих замечательных эссе о Фросте такими словами:

“Включать в себя пространство между потрясающе величественными и почти невыносимыми частями стихотворений, с одной стороны, и нежнейшими, тончайшими, самыми любящими частями — такое громадное пространство; относиться ко всему этому полному кругу бытия с таким юмором, печалью и спокойствием... понимать, что человек может все же включать в себя, соединять и делать человечески постижимым или человечески непостижимым столь *многое* — это радость, одна из самых свежих и самых старых...”

Но эффект от открытия “другого Фроста” Джаррелом (который сам являлся периферийной фигурой в академической среде) не был таким значимым событием в литературных кругах, как определение Фроста, принадлежащее Лайонелу Триллингу, который назвал его “поэтом, вызывающим ужас” (цит. по Brodsky 1995b). Критическое исследование поэзии Фроста, сделанное Пуарье (Poirier 1977) и пересмотр литературной жизни Фроста, выполненный Притчардом (Pritchard 1984), были решающими для того сдвига, который произошел в прочтении поэзии Фроста и уважении, которое он приобрел как поэт.

Моя реакция на поэзию Фроста следовала только что описанному изменению (хотя и со значительным опозданием). Я много читал Фроста в колледже и в последующие годы, но то, что я читал, меня не захватывало. Голос, говорящий в его стихотворениях (как я сейчас вспоминаю), казалось, рассказывал настолько ясную историю, что оставлял мне как читателю очень мало работы. Меня больше тянуло к “трудным” (difficult) современным поэтам, таким как Элиот, Паунд, Стивенс, Марианна Мур и Уильям Карлос Уильямс. Фрост не является “трудным” поэтом в соответствии со взглядами Элиота*; его поэзия не вывихивала язык с помощью несвязного или отсутствующего повествования, фрагментированных образов, неясных литературных аллюзий и т.д. Однако поэзия Фроста действительно трудна, но трудна совсем иначе, чем поэзия Элиота, Паунда и других авторов. Его стихотворения трудны во многом потому, что “предлагают формулировки, которые не формулируются (которые формулируются почти, но не до конца. Я хочу быть настолько тонким... чтобы казаться случайному читателю совершенно очевидным” (Frost 1917).

В стихотворении Фроста (1942b) “Большая часть” (The Most of It) (которое в раннем черновике называлось “Делая большую часть” [“Mahing the Most of It”]), человек кричит через озеро и оплакивает тот факт, что природа предлагает просто “насмешливое эхо” и отказывается ответить собственной “встречной любовью”. Человек продолжает смотреть на озеро,

*Взгляды Элиота на поэзию приобрели огромное влияние в литературных и научных кругах в период зрелости Фроста как поэта и в последующее десятилетие. О том, что было в моде в течение многих десятилетий, говорит следующий пассаж из эссе Элиота (Eliot 1921) “Метафизические поэты”: “... Кажется, что поэты в нашей культуре, как это и обстоит сейчас, должны быть *трудными*... Поэт должен быть очень многогранным, намекающим, косвенным, чтобы, если нужно, заставить вывихнуть язык под свой смысл”.

Как вдруг во всей мощи явился огромный олень,
 Вздвигнув головой воду,
 Вступил на землю, и вода стекала с него, как водопад,
 И заковылял по камням грубой походкой,
 Приминая подлесок — и это все.

[As a great buck it powerfully appeared,
 Pushing the crumpled water up ahead,
 And landed pausing like a waterfall,
 And stumbled through the rocks with horny tread,
 And forced the underbush — and that was all.

Большая часть “трудности” при чтении Фроста отражена в заключительных четырех словах этого стихотворения: “и это все”. Поэзия Фроста живет в области “и это все” и как будто намеренно сопротивляется нашим усилиям, чтобы она (стихотворение, мир, наши жизни) значила больше, чем “это”. Но что такое “это”? Вначале “и это все” кажется мудрым, лишенным сентиментальности, прагматичным взглядом поэта на отношения человека с природой: эхо — это эхо, опять — это опять, не больше и не меньше. Но при более пристальном рассмотрении то, что выглядит как мудрость, все больше и больше становится общим местом, самоочевидным высказыванием (лошадь — это лошадь), которое насмехается над нами, как эхо насмехается над человеком в стихотворении. Интересно неожиданное появление в самом конце этого двадцатистрочного стихотворения нового голоса, возникающего из тишины (следующей за плеском) так же, как олень внезапно появляется из озера. Читатель, так же как и человек в стихотворении, не может не хотеть, чтобы стихотворение “говорило с ним” и впоследствии пытается сделать слова “и это все” запоминающейся простой правдой, которую он может схватить и унести с собой, но олень в стихотворении — это больше и меньше, чем олень, это олень, являющийся порождением стихотворения. Это олень, который поднимается, “вздвигнув головой воду” и ступает на землю так, что “вода стекает с него, как водопад”. Это не олень, существующий в природе, но олень, порожденный в стихотворении звуками “заново сделанных” слов и пробуждающими воображение метафорами.

Голос в финальной фразе поэмы ироничен, остроумен и несколько отстранен и, как и олень, появляется только на мгновение перед тем, как исчезнуть в подлеске. Этот голос ни с чем не связан; он появляется на миг, и никогда не узнаешь, чей он. Неуловимость и тонкость этого голоса во многом делает поэзию Фроста такой трудной, такой интересной, такой живой и настоящей и, однако, всегда немного недоступной.

Сейчас я обращусь к трем стихотворениям Фроста: “Шелковый шатер” [“The Silken tent”], “Семейное кладбище” [“Home Burial”] и “Пусть время все

возьмет” [“Could Give All to Time”]. Я выбрал эти стихотворения, потому что они очень нравятся мне, каждое по разным причинам, но ни одно не нравится целиком. В каждом есть свои моменты жизни и моменты скуки; части, которые кажутся мне наиболее живыми, со временем меняются. (Важно, чтобы читатель несколько раз прочел эти стихотворения вслух перед тем, как перейти к моему обсуждению, поскольку стихотворения живут в звуках слов и в том, как мы чувствуем слова своим ртом, когда говорим их.)

I

“Шелковый шатер” (1942с) был впервые опубликован в сборнике стихотворений Фроста, озаглавленном “Древо — свидетель” [A Witness Tree]. Так называется дерево, которое отмечает границу владений (стоит как свидетель), и является “свидетельством, что я небезграничен” (Frost, 1942d, p. 301).

THE SILKEN TENT

She is as in a field a silken tent
 At midday when a sunny summer breeze
 Has dried the dew and all its ropes relent,
 So that in guys it gently sways at ease,
 And its supporting central cedar pole,
 That is its pinnacle to heavenward
 And signifies the sureness of the soul,
 Seems to owe naught to any single cord,
 But strictly held by none, is loosely bound
 By countless silken ties of love and thought
 To everything on earth the compass round,
 And only by one’s going slightly taut
 In the capriciousness of summer air
 Is of the slightest bondage made aware.

ШЕЛКОВЫЙ ШАТЕР

Она (как в поле шелковый шатер,
 Под ярким летним солнцем поутру,

Неудержимо рвущийся в простор
 И вольно парусящий на ветру.
 Но шест кедровый, острием своим
 Сквозь купол устремленный к небесам,
 Как ось души, стоит неколебим
 Без помощи шнуров и кольев — сам.
 Неощутимым напряженьем уз
 Любви и долга к почве прикреплен,
 Своей наилегчайшей из обуз
 Почти совсем не замечает он;
 И лишь когда натянется струна,
 Осознает, что эта связь прочна.

Перевод Г. Кружкова

Фрост (Frost 1923) говорил о поэзии как о “словах, которые стали делами”. “Шелковый шатер” часто успешно становится “делом” в том смысле, что сам становится переживанием — в противоположность описанию чувства или переживания. В начальной строке: “She is as in a field a silken tent” [“Она — как в поле шелковый шатер”] то, что сравнивается с шелковым шатром, — это не “Она”, а “Она — как” [“She is”] (активное качество бытия, скорее глагол, чем существительное). Каким бы другим было стихотворение, если бы Фрост начал его со слов “She is like” [“Она похожа”], вместо “She is as” [“Она — как”]. Слово “как” само по себе легче, оно не такое угловатое, как слово “похожа”, и приглашает к гораздо более легкому сравнению. После начального слова “She” [“Она”] уже больше не упоминается, а остается как бы растворенной в строчке и во всем стихотворении в целом.

Изящная цельность и единство шатра гораздо меньше передаются его описанием, чем самим сенсорным переживанием читателя стихотворения, которое соткано из единой нити одного непрерываемого предложения. Стихотворение никогда не “отдыхает”: в нем есть постоянное движение, созданное игрой твердости и мягкости, стремления к расширению и привязанности. В начальных четырех строках мы чувствуем, как мягкие звуки “S” (например, “So that in guys it gently sways at ease”) [“И вольно парусящий на ветру”] нежно, но твердо удерживаются на своем месте натянутой структурой метра, ритма и рифмы сонетной формы. Даже в пространстве двух слов в третьей строке: “ropes relent” [в поэтическом переводе нет аналога, в подстрочном переводе “веревки ослабли”] читатель может почувствовать, как твердость и плотность слова “ropes” [“веревки”] уступает слегка, но только слегка более свободному

чувству, возникающему от более широкого двусложного слова “relent” [ослабли] с его мягким “l” и слегка закругленным звуком “t”.

И вот происходит сдвиг в звучании и ритме слов (и с ними небольшой сдвиг в настроении), когда стихотворение переходит от первых четырех строк к следующим трем. Пятая строка (“And its supporting central cedar pole”) [“Но шест кедровый, острием своим”] требует, чтобы мы останавливались после каждого слова таким образом, что слова и звуки как будто “поднимаются”. Невозможно произнести слова “And its supporting central cedar pole” без пауз после слов “supporting”, “central” и “cedar”. (В то же время аллитерация этих трех слов легко связывает их вместе.) Возникает чувство “вертикальности”, находящееся в контрасте с гладкими “горизонтальными” парусящими движениями предыдущей строчки.

В шестой и седьмой строках стихотворение приобретает почти религиозный тон. Кедровый шест имплицитно сравнивается со шпилем церкви (a pinnacle), стремящимся к небесам. Стихотворение здесь раздувается (как мне кажется, с недостаточным юмором), когда оно выходит за пределы личного к всеобщему. Но даже тогда, когда стихотворение приобретает эту квазирелигиозную экспансивность, образ кедрового шеста в центре, протыкающего шелковую ткань, имеет сдержанный, но безусловно сексуальный характер.

К середине стихотворения шелковый шатер приобретает свою собственную жизнь и мы уже с трудом вспоминаем, что шатер — “это то же самое”, что “Она — как”. Во фразе “silken ties of love and thought” [подстрочный перевод: “шелковые шнуры любви и долга”] стихотворение игриво делает круг, и уже человеческие чувства и способности становятся метафорами для движения и структуры объекта (шатра), который, в свою очередь, похож на сущность человеческого существа. Так образ шатра как будто “удерживается” непрочно привязанными шнурами. Эффект, создаваемый выражением: “loosely bound | By countless silken ties of love and thought” [“Неощутимым напряженьем уз | Любви и долга к почве прикреплен”], для меня является наиболее интересным и живым моментом в стихотворении. Слово “thought” [“долг”] является неожиданным и оберегает эту и следующую строки от того, чтобы они выглядели как стандартная поэтическая форма. Слово “долг” регуманизирует образ шатра даже больше, чем более “поэтическое” слово “любовь”. Полнота слова “долг” пробуждает чувство thoughtful consideredness [заботливой внимательности], так же как и чувство жизни души. Жизнь души не просто обозначается, ее присутствие ощущается в жизни словесной игры, в жизненности образов и метафор, изящно и чувственно изгибающихся и окольцовывающих друг друга, в огромном удовольствии, получаемом от разыгрывания, наблюдения и переживания языкового подвига, безусловно исполненного.

Стихотворение завершается:

And only by one's going slightly taut
In the capriciousness of summer air
Is of the slightest bondage made aware.

[Русский перевод не очень точен — А.У.:

“Почти совсем не замечает он;
И лишь когда натянется струна,
Осознает, что эта связь прочна”]

Связь с тем, кто “она —”, поддерживается здесь неопределенностью слова “one’s”, которое относится как к шнуру, так и к человеку. Мы можем своим телом ощутить легкость воздуха, то, как мы чувствуем наше дыхание, несущее последний слог стихотворения, который сам по себе воздух [air] (“are”), нежно спрятанный в мягкости слова “aware”.

“Шелковый шатер” — исключительно красивое любовное стихотворение. Но это странное любовное стихотворение, в котором “Она”, любимая, так быстро и тщательно заменяется шелковым шатром, что мы временами забываем о ней, однако это не означает, что мы о ней совсем забыли. Я думаю, что в каком-то важном смысле слова “Она” — это стихотворение или, точнее, “Она —” (ее бытие) — это переживание поэтического творчества. Когда я спросил себя, что можно почувствовать, получив такое любовное стихотворение, то немедленно ответил, что предпочел бы быть его автором, нежели адресатом. Для меня стихотворение лучше схватывает суть (“душу”) любви к поэзии, чем переживание любви к человеку или любви к прекрасному в природе. Тонкие напряжения, которые являются и предметом и жизнью этого стихотворения, — это напряжения самого сердца поэзии, никогда не разрешенных “тяжб” между страстью и уздой, между экспансией и границей, между явным и тайным, простотой и сложностью, поверхностью и глубиной, сказанным, несказанным и просто подразумеваемым.

Это стихотворение, делающее слова и переживания любви к поэзии такими же легкими, как воздух, всегда делает больше. С самого начала язык и образы мягко, но настойчиво предполагают осознание временности переживания, создаваемого в стихотворении. Шатер — это шелковый купол, тонкая ткань, “в полдень” подверженная “капризам солнечного дня” (возможно, метафора капризности человеческих эмоций). Переживание (человека, восприятия красоты, стихотворения) не может быть застывшим и никогда не будет таким же, как в данный момент. Поэт (или читатель) не может знать, сумеет ли он когда-либо

создать хорошее стихотворение или позволить стихотворению глубоко проникнуть в него. Осознание этого является неотъемлемой частью языка стихотворения и ткани переживания любви. В последних словах заключительной строчки слово “узы” [“bondage”], кажется, настаивает на том, чтобы его услышали как более темное, тяжелое слово, чем те, которые использовались раньше при упоминании элементов ограничения: “guys” [растяжки], “held” [удержан], “bound”, “ties” [связи], “taut” [натянутый]. Слово “bondage”, даже несмотря на то, что оно употребляется во фразе, создающей ощущение легкости, звучит так, что напоминает о том, что страсть не только освобождает, но и порабощает. Фросту было известно, что страсть поэта к сочинению стихов — это его тюрьма (в очень неромантическом смысле), так же как и его жизненное ядро.

II

“Семейное кладбище” [“Home Burial”] Фроста (Frost 1914b) является, возможно, одной из наиболее успешных в американской поэзии попыток уловить в стихах звук и чувство людей, разговаривающих друг с другом. Протокол реального диалога схватывает только то, что говорится, и в результате передает только малую часть того, какое это чувство — быть здесь, слушать и наблюдать. Главная задача поэта при создании диалога — уловить в действии самого языка живой звук и переживание речи. Фрост (Frost 1913) считал, что жизненность речи — в ее звучании, “звучании смысла”: “Лучшее место, где можно получить абстрактное [чистое] звучание смысла — это голоса, звучащие за дверью, которая отсекает слова”. Чтобы достичь этого, предложения должны говорить друг с другом, как два или более человека в пьесе” (Frost 1936), так чтобы стихотворение не просто представляло собой диалог, но само было диалогом.

“Семейное кладбище” — одно из наиболее длинных стихотворений Фроста, и поэтому я сосредоточусь только на его начале. Это стихотворение, в котором пара борется со смертью своего первого ребенка, погребенного в маленьком фамильном захоронении возле их дома.

HOME BURIAL

He saw her from the bottom of the stairs
 Before she saw him. She was starting down,
 Looking back over her shoulder at some fear.
 She took a doubtful step and then undid it

To raise herself and look again. He spoke
 Advancing toward her: 'What is it you see
 From up there always — for I want to know.'
 She turned and sank upon her skirts at that,
 And her face changed from terrified to dull.
 He said to gain time: 'What is it you see,'
 Mounting until she cowered under him.
 'I will find out now — you must tell me, dear,'
 She, in her place, refused him any help
 With the least stiffening of her neck and silence.
 She let him look, sure that he wouldn't see,
 Blind creature; and awhile he didn't see.
 But at last he murmured, 'Oh,' and again, 'Oh.'

'What is it — what? she said.

'Just that I see.'

СЕМЕЙНОЕ КЛАДБИЩЕ

Он снизу лестницы ее увидел
 И раньше, чем она его. Она
 Спуститься собиралась, с беспокойством
 Косясь в окно, уже шагнула вниз,
 Но обернулась, чтоб взглянуть еще раз.
 "И что ты всё высматриваешь там?" —
 Спросил он, поднимаясь ей навстречу.
 Она вдруг обернулась и осела,
 И взгляд ее испуганный погас.
 "На что ты смотришь всё, — он поднимался,
 Пока не оказался рядом с ней. —
 Я все равно узнаю, дорогая,
 Не лучше ли сказать мне?" Но в ответ
 Ни мускул на лице ее не дрогнул.
 Слепое существо, что может он
 Увидеть? И сначала он не видел.
 "О, — наконец пробормотал он. — О".

"Что? что ты там увидел?"

"То, что вижу".

Перевод О. Чухонцева

Стихотворение начинается просто, но все же конвульсивно, поскольку суть сложных взаимоотношений между двумя людьми заключена в мгновениях, создаваемых звуками и движениями слов:

Он снизу лестница ее увидел
И раньше, чем она его. Она
Спуститься собиралась, с беспокойством

[He saw her from the bottom of the Stairs
Before she saw him. She was starting down,
Looking back over her shoulder at some fear.]

Каждый раз, как я читаю стихотворение, его первая строка запутывает и смущает меня. При чтении слов: “Он снизу лестницы ее увидел / И раньше, чем она” — моя дезориентация усиливается настолько, что очень часто я останавливаюсь и начинаю сначала в попытке зафиксировать язык и образ. В сцене участвуют три человека, говорю я себе: мужчина, женщина и рассказчик. Но я не могу увидеть их в уме. Кто, где? Все видят (“He Saw her...” — “Он... ее увидел”; “She saw him” — “она его”), но тем не менее читатель безуспешно борется за то, чтобы увидеть, как будто все перед ним в тусклом свете.

Фраза “She was starting down” [“Она / Спуститься собиралась” в последовательности и “наклоне” звучания слов заключает движение вперед и вниз от “She”, с ее длинным звуком “e”, к резонирующему более низким тоном слову “down”. Но следующая строка: “Looking back over her shoulder at some fear” [“с беспокойством / косясь в окно] переводит движение в противоположное направление, создавая таким образом искривленный образ движения вперед и назад, вниз и вверх, в будущее и в прошлое. Слова “some fear” [“с беспокойством”] выпадают из этих трех начальных строчек. Слово “fear” неожиданно (“выдернуто” ... со своего обычного места” [Frost 1918]), поскольку мы редко думаем о себе, что мы оборачиваемся, чтобы взглянуть на такую абстракцию, как страх, или надежда, или радость. Эффект значительно усиливается использованием слова “some” для модификации, поскольку это слово, вместо того чтобы больше говорить нам о страхе [“беспокойстве”], кажется, ограничивает наш взгляд, отказываясь назвать или хотя бы описать его.

Стихотворение продолжается:

She took a doubtful step and then undid it
To raise herself and look again.

[... уже шагнула вниз,
Но обернулась, чтоб взглянуть еще раз.]

В первой из этих строк регулярность каденции пятистопного ямба* слегка нарушается: “doubtful step” [“уже шагнула вниз”] создается в звучании языка добавлением лишнего безударного слога в конце строки. Так чувство запинки, “выпадения за пределы строки” слышится и чувствуется в голосе, когда произносишь эту строку**. Кроме того, в строке есть мрачная ирония: “She took a doubtful step and then undid it” [“уже шагнула вниз, но обернулась”]. Не сказанным, но подразумеваемым здесь является решительно обрамляющее все стихотворение знание о том, что если, шагнув, можно вернуться назад, а дела переделать, ничто не является необратимым.

He spoke
Advancing toward her: ‘What is it you see
From up there always-for I want to know.’

[“И что ты всё высматриваешь там?” —
Спросил он, поднимаясь ей навстречу.]

Читатель также поднимается к ней: наше “слышание” сказанных мужем слов: “What is it you see” [“И что ты всё высматриваешь там?”] в его голосе и в наших словах создает эффект кинематографического движения от более общего плана к крупному. Произнося слово “always” [“всё”], мы можем слышать и ощущать во рту “продление” голоса говорящего, которое находится в контрасте с эффектом первого стаккато восьми односложных слов, предшествующих ему. Слово “always” [“всё”] улавливает ощущение вневременности (не простого повторения) того, что происходит. Посмотрите, какая была бы разница, если бы строка была такой: “What is it you always see from up there”? Расположение слова “always” в конце фразы, как раз перед длинной паузой, создаваемой тире, *позволяет звуку слова “always”* реверберировать и затем умирать в це-зуре, следующей за ним. Как будто звук слова “always” нужен, чтобы быть эхом каменного молчания невероятной пустоты дома, которую эта пара больше не способна заполнить.

“Использование слова “always” неожиданно для читателя, так же как и слов “some fear”. Но здесь, кроме того, есть ощущение, что муж тоже не ожидает услышать, что он произнес это слово. Он делает паузу, сказав его, как будто пытается впитать в себя глубокую скорбь, которую слышит в звуке слова, вылетающего у него изо рта. Пауза после слова “always” преобразует следующие слова: “for I want to know”. Читатель (и, как мы представляем, муж тоже) ожи-

*Пятистопный ямба — стихотворный размер, состоящий из пяти “стоп” (метрических единиц) в строчке, а каждая стопа состоит из безударного слога, за которым следует ударный. Фрост (Frost 1939) часто отмечал, что в английском (в отличие от французского, русского или любого другого языка) “практически существуют два [размера]: строгий ямба и нестрогий ямба”.

**Я очень благодарен поэтессе Алисе Джонс, рассказавшей мне кое-что о размерах и много — о страсти к поэзии.

дают услышать в этих словах тревожное, нетерпеливое требование. Слова, следующие за паузой в строке, произносятся довольно рефлексивно, как будто взяты из душевного состояния, которого уже не существует. Муж, услышав звук слова “always”, отражающегося эхом в тишине пустого дома, теперь помимо своей воли дает этими рефлексивными словами гораздо более сложное выражение своим чувствам, чем то, которое он (или читатель) мог ожидать. Слова “for I want to know” теперь, кажется, отражают то, как муж ощущает, несмотря на свое упорное спрашивание, что он не хочет знать, но, однако, в каком-то смысле уже “знает”. (Слово “know” своим звучанием очень компактно схватывает пугающее возражение — “No”, — живущее в этом стихотворении в самой сердцевине желания знать.)

She turned and sank upon her skirts at that,
And her face changed from terrified to dull.

[Она вдруг обернулась и осела,
И взгляд ее испуганный погас.]

(*Не очень точный перевод.* — А.У.)

Молчание и телесные движения жены выражают ее уход в глубокое отчаяние. Здесь происходит упрощение, оскучение языка. Он описателен в том, что рассказывает нам “о” том, что происходит — в противоположность более непосредственному, живому переживанию слышания того, что происходит, в звучании голоса ее мужа.

He said to gain time: “What is it you see”,
Mounting until she cowered under him.

[“На что ты смотришь всё, — он поднимался,
Пока не оказался рядом с ней.]

(*Опять не очень точный перевод.* — А.У.)

Наиболее интересной и выразительной в этих строках является связующая фраза: “to gain time” — *выиграть время* [в русском переводе отсутствует]. Она создает ощущение человека, который находится одновременно в двух местах: муж одновременно впереди и позади себя — в том, что он уже в неартикулированном виде “знает” ответ на вопрос, который собирается снова задать, но нуждается во времени, чтобы попытаться “узнать” по-другому, то есть тем способом, который намекает на то, что он уже знает, и борется с этим знанием. Ирония в том, что время — это нечто, что он не может “gain” [выиграть] в мире “always” [всегда], в котором оказались пойманы он, его жена и ребенок.

Слова “mounting” and “cowering” во второй из двух этих строк предполагают скрытый половой акт, в котором два человека сопротивляются переживанию “чего-то человеческого” [“something human”] (если использовать фразу из середины стихотворения) друг в друге. Название стихотворения “Home Burial” обрастает смыслами, когда стихотворение разворачивается, включая к этому моменту не только кладбище в доме, но также и похороны [burial — по-английски также и похороны, и могила] дома, семьи, брака. Это “ужасающая” могила, в которой муж и жена (в том смысле, который мы воспринимаем в языке) похоронены заживо. (Есть мрачный юмор в игре слов заглавия, которое отражает неприятно отстраненный, беспристрастный, никогда не принимающий чью-либо сторону характер повествующего голоса в стихотворении.)

Муж повторяет свой вопрос, но это уже больше не вопрос, а требование, чтобы жена назвала то, что он уже “знает”, но не может вынести того, чтобы сделать это для себя более реальным, назвав по имени:

“I will find out now — you must tell me, dear”.

[Я все равно узнаю, дорогая]

Слово “dear” на звук такое пустое, что леденит. В стихотворении из ста двадцати строк, полностью написанном белым стихом, есть только один случай явной рифмы в конце строки (не считая рифмующихся между собой одинаковых слов). Этот единственный случай состоит в рифмовке слова “dear” в этой строке со словом “fear” почти за десять строк до этого. Так стихотворение незаметно делает в языке то, что пара делает друг с другом: оно заражает (связывает) любовь, которую они в какой-то момент чувствовали (“dear”), страхом, поглощающим их обоих.

She, in her place, refused him any help
With the least stiffening of her neck and silence.

[Но в ответ
Ни мускул на лице ее не дрогнул.]

Фраза “in her place” любопытна тем, что в трех односложных словах ей удается создать ощущение того, как муж и жена заняли (или, скорее, заняты) неподвижным “местом”, которое управляется чувством “always”. Меня регулярно заставляло врасплох слово “least” во фразе “The least stiffening of her neck”. Слово (как почти все, что происходит в этом стихотворении) кажется направленным против самого себя. Это отказ жены помочь мужу (или себе самой), который передается даже тем, что ее шея не гнется (и отказ заключен в каждой частичке ее тела), и в то же время это некая модуляция отказа, потому что ее шея *только* слегка не гнется.

She let him look, sure that he wouldn't see,
Blind creature; and awhile he didn't see.

[Слепое существо, что может он
Увидеть? И сначала он не видел.]

Слова "Blind creature" приобретают дополнительную силу, по мере того как голос жены прорывается через отстраненный повествующий голос. Точка с запятой после исполненных ненависти слов "Blind creature" создает еще одну паузу, во время которой мы ждем вместе с женой в ее нетерпеливом гневе, топающем ногой, и с мужем в его мучительной борьбе с самим собой. (Молчание, пространство между словами в этом стихотворении, по крайней мере, так же выразительно, как и сами слова.)

Смутная непроницаемость слов "some fear" также приобретает смысл и в этих строках и, по-видимому, предполагает, что жена, глядя через плечо, не переживает смерть ребенка так же сильно, как страх пережить эту потерю. Несмотря на то, что ее взгляд "всегда" направлен на могилу, она, как и муж, не может видеть ее (в том смысле, что она не способна пережить это, ощутить полную реальность и конечность этого, горевать из-за этого). Есть некая неоднозначность в эпитете "Blind creature" — в том, что он относится не только к нечеловеческой (воспринимаемой ею) неспособности мужа "увидеть", но также к нечеловеческой слепоте жены к своему мужу (и ее собственным) мучительным попыткам траура.

But at last he murmured, 'Oh,' and again, 'Oh.'
'What is it (what? she said.
'Just that I see.'

["O, — наконец пробормотал он. — O".
"Что? что ты там увидел?"
"То, что вижу".]

Ритм первой из этих строк замечателен тем, что слова (с помощью пауз и молчания, создаваемых тремя запятыми и периодом из четырех слов) движутся болезненно медленным шагом, пока "наконец" муж не бормочет 'Oh,' and again, 'Oh.'. "Это звуки невольного стоны боли. Слово "creature" в предыдущей строке теперь приобретает удивительную мягкость, почти вопреки себе, потому что звук, который мы слышим, похож на стон пойманного, раненого зверя (creature). Темп ускоряется во второй из этих строк, когда слова передают горький, колющий, жесткий голос жены ('What is it — what? she said). Затем стихотворение снова замедляется почти до остановки, когда слова 'Just that I see' воплощают в своем ритме болезненное, но очень сдержанное признание мужем того, что он уже знает всегда, но отказывается называть (признать открыто) себе или своей жене.

Эти строки метрически и пространственно делают что-то, что остается несказанным во всем стихотворении. То, что метрически является одной строкой пятистопного ямба (““What is it — wrat?” she said. “Just that I see””), на странице разбито на две части, позволяя читателю “видеть” в пространственной конфигурации строк то, что не видят ни муж, ни жена. Пара так же едина в своем горе и страхе, как едина эта строка пятистопного ямба; в то же время пара так же разделена, как эта пространственно разрезанная строка (имеющая конфигурацию спускающейся ступени) на странице и ритмически разбита в своей каденции.

Из предшествующей дискуссии о начале “Семейного кладбища” уже должно быть ясно, что есть два обычных слова и обычная фраза, которые решающе важны для успеха этого пассажа. Использование слова “some” для описания страха имеет чрезвычайную силу, не только схватывая глубину и тайну привычного, но также рождая в языке борьбу с видением и знанием. Фраза “to gain time” пытается в очень сгущенном виде передать переживание человека, наклонившегося вперед и волочащегося назад, пытающегося (и не желающего) обозначать словами чувства, восприятия и события, которые, как он боится, сделают все это невыносимо реальным и окончательным. На мой взгляд, самое интересное и волнующее — употребление слова “always” (звучащего эхом, а затем умирающего в молчаливой пустоте, следующей за ним). Вызываемый таким образом эффект состоит в том, что это переживание безвременное, в котором нет прошлого и будущего, только чувство “always”. Весь начальный пассаж, кажется, распространяется вперед и назад от слова “always”, как будто строки вращаются вокруг этого слова, как колесо вращается вокруг втулки. Это обычные слова, создающие необычные языковые эффекты. “Никакие формы [языка] не являются более поглощающими, успокаивающими, устойчивыми, чем эти малые сии, которые мы выдыхаем, как кружащиеся кольца дыма...” (Frost 1935). Примерно через сто строк все стихотворение заканчивается одним движением (не периодом), таким образом создавая ощущение, что стихотворение падает в бесконечное время и пространство, в котором три голоса (мужа, жены и рассказчика) отдаются эхом “always”.

III

“I Could Give All to Time” [“Пусть время все возьмет”] (Frost 1942c), впервые опубликованное, когда Фросту было 68 лет, — это стихотворение, которое своим последним стансом преобразуется из хорошей поэзии в великую поэзию.

I COULD GIVE ALL TO TIME

To Time it never seems that he is brave
To set himself against the peaks of snow
To lay them level with the running wave,
Nor is he overjoyed when they lie low,
But only grave, contemplative and grave.

What now in inland shall be ocean isle,
Then eddies playing round a sunken reef
Like the curl at the corner of a smile;
And I could share Time's lack of joy or grief
At such a planetary change of style.

I could give all to Time except — except
What I myself have held. But why declare
The things forbidden that while the Customs slept
I have crossed to Safety with? For I am There,
And what I would not part with I have kept.

ПУСТЬ ВРЕМЯ ВСЕ ВОЗЬМЕТ

Нет, Время это подвигом не мнит —
Разрушить горный пик до основанья,
В песок прибрежный превратить гранит;
Без огорченья и без ликования
На дело рук своих оно глядит.

И вот — на месте вздыбленного кряжа
Мелькнет насмешливым изгибом рта
Зализанный волнами контур пляжа...
Да, сдержанность — понятная черта
Пред этой вечной сменой пейзажа.

Пусть Время все возьмет! Мой скарб земной —
Да будет он изъят и уничтожен.
Зато я сберегу любой ценой
То, что провез я мимо всех таможен;
Оно — мое, оно всегда со мной.

Перевод Г. Кружкова

Стихотворение начинается, конечно, с заглавия, в котором рассказчик явно отдает себя времени, но слово “could” условно, так как оставляет открытым вопрос: “If would?” “Under what circumstances?”. В первом стансе есть непрямая персонификация времени и признание (“tribute”) силы времени разрушить до основания “peaks of snow”. Здесь интересен вопрос, кто рассказчик — иначе говоря, в каком отношении находится рассказчик к тому, что он говорит? Есть в голосе рассказчика некоторое ироническое отстранение. Слово “brave”, заканчивающее первую строку станса, имеет юмористический, почти снисходительный характер; слово, в том виде, как оно употребляется здесь, звучит похоже на то, как если бы родитель поздравлял ребенка с тем, что тот не плакал в кабинете у дантиста. Звучание слова “grave” в последней строке станса ощущается как намеренно утяжеленное, особенно когда оно повторяется, “на тот случай, если читатель не нашел его в первый раз”.

Голос в первых трех строках второго станса воспринимается как немного более отстраненный. Сравнение “Eddies playing round a sunken reef” с “The curl at the corner of a smile” пробуждает чувство ошеломляющего принятия разрушающей силы времени и даже содержит в себе признание красоты этого перехода, который время может неумышленно создать. Но в последних двух строках станса этот капризный тон, кажется, приобретает отчасти сардоническую грань, когда рассказчик обращается к “Time’s lack of joy or grief” в ответ на “planetary change of style”. Здесь еще совсем не ясно, претендует ли стихотворение на то, чтобы быть чем-то большим, чем умное, хорошо сделанное произведение, в котором есть сухая ирония по поводу того факта, что время сделает то, что оно сделает, независимо от того, разделяет ли человек это “lack of joy or grief”.

Последний станс начинается словами: “I could give all to Time”, возвращающими нас к интересной неоднозначности слова “could”, которое с самого начала нависает над стихотворением, как неразрешенный музыкальный аккорд. В пространстве (времени и листа) между словами “excerpt — excerpt” стихотворение как будто “взламывается” со звуком и чувством раскалывающегося, переполненного эмоциями голоса рассказчика (и читателя). Разлом строки прямо перед последним словом создает эффект, в котором второе “excerpt” кажется освобожденным от связи со всем, что ему предшествовало, и текуче, но неудержимо “переливается” через край строки во вторую строку станса. Так в самом движении языка возникает чувство размывания границ, вместо долгого периода ограничения. (Enjambment* каждой из первых трех строк последнего станса усиливает чувство движения вперед.) В противоположность первым двум стансам, тон первых полутора строк финального станса свидетельствует об определенном (возможно, спокойно-радостном) неповиновении. От време-

*Enjambment — в поэзии продолжение конца строки в следующей строчке без паузы.

ни утаивается не просто “what I have held”, но “what I myself have held”. Слово “held” рассказывающий голос помещает буквально в физический мир чувственных, осязаемых вещей и людей (и путем метафорического расширения — в мир сильно переживаемых эмоций, чувств, мыслей и убеждений). Голос рассказчика — это голос человека, страстно заявляющего права на то, что наиболее свято для него. В этом месте стихотворения мы очень далеки от довольно отстраненной космологической иронии, передаваемой такими словами, как “planetary change of style”.

Страстный голос от первого лица — редкое явление в поэзии Фроста. Он нередко тушует, избегая такого раскрытия и смешивая страсть с иронией и мудростью (как в двух первых стансах стихотворения). Само стихотворение — это риск, который принимает на себя поэт самим актом речи от первого лица, страстным голосом (вне защитного покрова иронии, разума, неопределенности и т.д.); стихотворение может легко выродиться в юношескую сентиментальность и самовозвеличивание. (Лишь немногие поэты так стремились избежать такого вырождения, как это делал Фрост.)

Стихотворение — не “о” самых святых вещах, которые оберегают, и даже не “о” чувстве сбережения чего-то святого. Стихотворение и *есть* то самое святое, что сберегается. И то, что делает поэзию святой, *показано* всем нам в переживании тех “говорящих” строк. А как иначе? Ведь то, что мы так свято бережем, — это сама поэзия, а не рассказы о ней.

Голос “взламывается”, рискует позволить страсти быть услышанной и почувствованной в речи рассказчика от первого лица, и закладывается основа для элегантной метафоры:

But why declare
The things forbidden that while the Customs slept
I have crossed to Safety with? For I am There,
And what I would not part with I have kept.

[Зато я сберегу любой ценой
То, что провез я мимо всех таможен;
Оно — мое, оно всегда со мной.]

[*Очень неточный перевод!* — А.У.]

Это придает последнему стансу лиричность, что позволяет нам пережить “what I myself have held”. То, что утаено от времени, что сохраняется на протяжении всей жизни рассказчика, несмотря на неблагоприятное “погодное” воз-

действие возраста и потерь (на которые намекается в первых двух стансах) — это создание поэзии. В этот момент ироничный, отстраненный тон первых двух стансов ретроспективно несколько преобразуется и воспринимается как ложная бравада, маскирующая печаль рассказчика о том, что он потерял за время жизни.

В заключительном стансе образы также сдвигаются от персонификации Времени (несколько вымученной) как разрушителя гор к Времени (возрасту) как спящему сотруднику таможни прошлого, мимо которого рассказчик незаметно пронесит самое важное для себя. Образ этот не только менее абстрактный, он является особенным, личным творением, живущим и дышащим в темпе музыки слов. Например, в третьей строке последнего станса есть лишний безударный слог, который замедляет темп строки и помогает создать в языке чувство напряжения и опасности, когда фигура из этой метафоры тихонько проскальзывает мимо спящего таможенника. В следующей строке предложение несколько неловко заканчивается в середине строки утверждениями: “I have crossed to Safety with”. Звучание слов с их собственным несовершенным темпом создает ощущение личного времени (обычного и тем не менее необыкновенно могучего), которое заменяет безличное Время, оккупировавшее первые два станса. Глубоко личное время, которое создается в языке последнего станса, — это то время, с которым мы боремся в наших усилиях остаться по-настоящему живыми, а не просто живущими. Хотя время в этом стихотворении, несомненно, побеждено, рифмы и каденции стихотворения сами являются свидетельством того, что стихотворение, поэт, читатель должны “что-то сделать со временем”, если используют его для создания темпов музыки или поэзии, или речи, или темпа своей жизни.

Как мог бы сказать Уильям Джеймс (James 1890), первую часть последнего станса можно понимать как создание/выражение “чувства *но*” (“But why declare the things forbidden”), которое в заключительных строках стихотворения превращается в “чувство *для*” и “чувство *с*”.

For I am There,
And what I would not part with I have kept.

“Чувство *с*”, которое создается в этих заключительных строках стихотворения, гораздо спокойней, чем то, что предшествовало ему. Здесь есть ощущение, что по мере того, как рассказчик стареет (а стихотворения прочитывается), многое, но не все теряется: “And what I would not part with I have kept”. “Чувство *с*” несет в себе ощущение спокойного и живого соединения с временем, в противоположность триумфу над ним. Не может быть триумфа, когда речь идет о времени.

Три стихотворения Фроста, которые я рассматривал, очень отличаются друг от друга своей формой и тем аспектом человеческого существования, к которому они адресуются. Но, тем не менее, за этими различиями скрыто мощное единство. Каждое из этих стихотворений (или, скорее, их восприятие читателем) *представляет собой* живое событие, к которому стихотворение адресуется, независимо от того, является ли это особым переживанием любви к созданию и слушанию поэзии, или борьбы со словами и против них, чтобы вынести невыразимые переживания, или попытка сохранить в себе живым самое святое, сбереженное за время жизни. В каждом случае стихотворение — не о переживании; жизнь стихотворения — это и есть переживание.

ЛИТЕРАТУРА

- Altman, L. (1975). *The Dream in Psychoanalysis*. New York: International Universities Press.
- _____. (1976). Discussion of Epstein (1976). *Journal of the Philadelphia Association for Psychoanalysis* 3: 58—59.
- Ammons, A. R. (1968). A poem is a walk. *Epoch* 28:114—119.
- Balint, M. (1968). *The Basic Fault*. London: Tavistock.
- Baranger, M. (1993). The mind of the analyst: from listening to interpretation. *International Journal of Psycho-Analysis* 74: 15—24.
- Bion, W. R. (1959). Attacks on linking. *International Journal of Psycho-Analysis* 40: 308—315.
- _____. (1962a). Learning from *Experience*. New York: Basic Books.
- _____. (1962b). A theory of thinking. In *Second Thoughts*. New York: Jason Aronson, 1967, pp. 110—119.
- _____. (1967). Notes on memory and desire. In *Melanie Klein Today, Vol. 2, Mainly Practice*, ed. E. Spillius. London: Routledge, 1988, pp. 17—21.
- _____. (1978). Four Discussions with *W.R. Bion*. Perthshire, Scotland: Clunie Press.
- Blechner, M. (1995). The patient's dreams and the countertransference. *Psychoanalytic Dialogues* 5:1—26.
- Bollas, C. (1987). *The Shadow of the Object: Psychoanalysis of the Unthought Known*. New York: Columbia University Press.
- Bonime, W. (1962). *The Clinical Use of Dreams*. New York: Basic Books.
- Borges, J. L. (1960). The other tiger. In *Jorge Luis Borges: Selected Poems 1923—1967*, trans. and ed. N.T. di Giovanni. New York: Delta, 1968, pp. 129—131.
- Boyer, L. B. (1988). Thinking of the interview as if it were a dream. *Contemporary Psychoanalysis* 24: 275—281.
- _____. (1992). Roles played by music as revealed during counter-transference facilitated transference regression. *International Journal of Psycho-Analysis* 73: 55—70.
- Britton, R. (1989). The missing link: parental sexuality in the Oedipus complex. In *The Oedipus Complex Today: Clinical Implications*, ed. J. Steiner. London: Kamaç, pp. 83—102.
- Brodsky, J. (1995a). How to read a book. In *On Grief and Reason: Essays*. New York: Farrar, Straus and Giroux, pp. 96—103.
- _____. (1995b). On grief and reason. In *On Grief and Reason: Essays*. New York: Farrar, Straus and Giroux, pp. 223—266.
- Brower, R. (1951). *The Fields of Light*. New York: Oxford University Press.
- _____. (1968). *Alexander Pope: The Poetry of Allusion*. New York: Oxford University Press.
- Casement, P. (1985). *Learning from the Patient*. New York: Guilford.
- Chasseguet-Smirgel, J. (1984). *Creativity and Perversion*. New York: Norton.
- Coltart, N. (1986). "Slouching towards Bethlehem" ... or thinking the unthinkable in psychoanalysis. In *British School of Psychoanalysis: The Independent Tradition*, ed. G. Kohon. New Haven, CT: Yale University Press, pp. 185—199.
- _____. (1991). The silent patient. *Psychoanalytic Dialogues* 1: 439—454.
- Duncan, R. (1960). Often I am permitted to return to a meadow. In *Robert Duncan: Selected Poems*, ed. R. Bertholf. New York: New Directions, 1993, p. 44.

- Eliot, T. S. (1921). The metaphysical poets. In *Selected Essays*. New York: Harcourt, Brace and World, 1932, pp. 241—250.
- Emerson, R. W. (1841). Art. In *Selected Writings*, ed. B. Atkinson. New York: Random House, 1950, pp. 305—315.
- Epstein, G. (1976). A note on a semantic confusion in the fundamental rule of psychoanalysis. *Journal of the Philadelphia Association for Psychoanalysis* 3: 54—57.
- Etchegoyen, H. (1991). *The Fundamentals of Psychoanalytic Technique*. London: Karnac.
- Faulkner, W. (1946). Appendix. *The Sound and the Fury*. New York: Modern Library, pp. 3—22.
- Fenichel, O. (1941). *Problems of Psychoanalytic Technique*. New York: Psychoanalytic Quarterly.
- Flannery, J. (1979). Dimensions of a single word-association in the analyst's reverie. *International Journal of Psycho-Analysis* 60: 217—224.
- Frank, A. (1995). The couch, the psychoanalytic process, and psychic change: a case study. In *Psychoanalytic Inquiry* 15: 324—827.
- Frayn, D. (1987). An analyst's regressive reverie: a response to the analysand's illness. *International Journal of Psycho-Analysis* 68:271—278.
- French, T. and Fromm, E. (1964). *Dream Interpretation: A New Approach*. Madison, CT: International Universities Press.
- Freud, S. (1897). Extracts from Fliess papers. Draft M, May 2, 1897. *Standard Edition* 1.
- _____. (1900). *The Interpretation of Dreams*. *Standard Edition* 4/5.
- _____. (1911—15). Papers on technique. *Standard Edition* 12.
- _____. (1912). Recommendations to physicians practising psychoanalysis. *Standard Edition* 12.
- _____. (1913). On beginning the treatment. *Standard Edition* 12.
- _____. (1914). On the history of the psycho-analytic movement. *Standard Edition* 14.
- _____. (1915). The unconscious. *Standard Edition* 14.
- _____. (1920). *Beyond the Pleasure Principle*. *Standard Edition* 18.
- _____. (1923a). Two encyclopaedia articles. *Standard Edition* 18.
- _____. (1923b). Remarks on theory and practice of dream-interpretation. *Standard Edition* 19.
- _____. (1927). Fetishism. *Standard Edition* 21.
- Frost, R. (1913). Letter to John T. Bartlett, July 4, 1913. In *Selected Letters of Robert Frost*, ed. L. Thompson. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964, pp. 79—81.
- _____. (1914a). Letter to John T. Bartlett, February 22, 1914. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, pp. 673—679.
- _____. (1914b). Home burial. In *Robert Frost; Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, pp. 55—58.
- _____. (1915). 'The imagining ear.' In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, pp. 687—689.
- _____. (1917). Letter to Louis Untermeyer. In *Frost: A Literary Life Reconsidered*, W. Pritchard. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1984, pp. 126—127.
- _____. (1918). The unmade word. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, pp. 694—697.
- _____. (1923). Some definitions. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, p. 701.
- _____. (1929). Preface. *A Way Out*. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, p. 713.

- _____. (1935). Letter to "The Amherst Student." In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, p. 739—740.
- _____. (1936). Letter to L. W. Payne, Jr., 12 March 1936. In *Selected Letters of Robert Frost*, ed. L. Thompson. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964, pp. 426—427.
- _____. (1939). The figure a poem makes. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, pp. 776—778.
- _____. (1942a). Carpe diem. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, p. 305.
- _____. (1942b). The most of it. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, p. 307.
- _____. (1942c). The silken tent. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, p. 301.
- _____. (1942d). Beeches. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, p. 302.
- _____. (1942e). I could give all to time. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, pp. 304—305.
- _____. (1962). On extravagance: a talk. In *Robert Frost: Collected Poems, Prose and Plays*, ed. R. Poirier and M. Richardson. New York: Library of America, 1995, pp. 902—926.
- Gaddini, E. (1982). Early defensive phantasies and the psychoanalytic process. In *A Psychoanalytic Theory of Infantile Experience: Conceptual and Clinical Reflections*, ed. A. Limentani. London: Routledge, 1992, pp. 142—153.
- Garma, A. (1966). *The Psychoanalysis of Dreams*. Chicago: Quadrangle Books.
- Goethe, J. W. (1808). Faust I and II. In *Goethe: The Collected Works, Vol. 2*; ed. and trans. S. Atkins. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Goldberger, M. (1995). The couch as defense and potential for enactment. *Psychoanalytic Quarterly* 63: 23—42.
- Gray, P. (1992). Memory as resistance, and the telling of a dream. *Journal of the American Psychoanalytic Association* 40: 307—326.
- _____. (1994). *The Ego and the Analysis of Defense*. Northvale, NJ: Jason Aronson.
- Green, A. (1975). The analyst, symbolisation and absence in the analytic setting (On changes in analytic practice and analytic experience). *International Journal of Psycho-Analysis* 56: 1—22.
- _____. (1983). The dead mother. In *On Private Madness*. Madison, CT: International Universities Press, 1986, pp. 142—173.
- _____. (1987). La capacite de reverie et le myth etologique. *Revue Francaise de Psychanalyse* 51: 1299—1315.
- Greenson, R. (1967). *The Technique and Practice of Psychoanalysis, Volume 1*. New York: International Universities Press.
- _____. (1971). Panel. The basic rule: free association—a reconsideration. Reporter, H. Seidenberger, *Journal of the American Psychoanalytic Association* 19: 98—109.
- Grotstein, J. (1979). Who is the dreamer who dreams the dream and who is the dreamer who understands it? *Contemporary Psychoanalysis* 15: 110—169.
- _____. (1995). A reassessment of the couch in psychoanalysis. *Psychoanalytic Inquiry* 15: 396—405.
- Isakower, O. (1938). A contribution to the psychopathology of phenomena related to falling asleep. *International Journal of Psycho-Analysis* 19: 331—335.
- _____. (1963). Minutes of faculty meeting. New York Psychoanalytic Institute, Nov. 20.
- Jacobson, J. (1995). The analytic couch: facilitator or sine qua non? *Psychoanalytic Inquiry* 15: 304—313.

- James, H. (1881). *The Portrait of a Lady*. Boston: Houghton Mifflin, 1963.
- _____. (1884). The art of fiction. In *Henry James: Literary Criticism. Vol 1: Essays on Literature, American Writers, English Writers*. New York: Library of America, 1984, pp. 44—65.
- James, W. (1890). *Principles of Psychology, Vol. 1*, ed. P. Smith. New York: Dover, 1950.
- Jarrell, R. (1953). *Poetry and the Age*. New York: Vintage, 1955.
- Joseph, B. (1975). The patient who is difficult to reach. In *Psychic Equilibrium and Psychic Change*, ed. M. Feldman and E. B. Spillius. New York: Routledge, 1989, pp. 75—87.
- _____. (1982). Addiction to near death. *International Journal of Psycho-Analysis* 63: 449—456.
- _____. (1985). Transference: the total situation. *International Journal of Psycho-Analysis* 66: 447—454.
- _____. (1994). 'Where there is no vision...' from sexualization to sexuality. Presented at the San Francisco Psychoanalytic Institute, San Francisco, April, 1994.
- Khan, M. M. R. (1976). Beyond the dreaming experience. In *Hidden Selves: Between Theory and Practice in Psychoanalysis*. Madison, CT: International Universities Press, 1983, pp. 42—51.
- _____. (1979). *Alienation in Perversions*. New York: International Universities Press.
- Klein, M. (1926). Psychological principles of infant analysis. In *Contributions to Psycho-Analysis, 1921—1945*. London: Hogarth, 1968, pp. 140—151.
- _____. (1928). Early stages of the Oedipus conflict. In *Contributions to Psycho-Analysis, 1921—1945*. London: Hogarth, 1968, pp. 202—214.
- _____. (1952). The origins of transference. In *Envy and Gratitude and Other Works, 1946—1963*. New York: Delacorte, 1975, pp. 48—56.
- Klein, S. (1980). Autistic phenomena in neurotic patients. *International Journal of Psycho-Analysis* 61: 395—401.
- Lawrence, D. H. (1919). Foreword. *Women in Love*. New York: Modern Library, 1950.
- Leavis, F. R. (1947). *Revaluation*. New York: Norton.
- Lebovici, S. (1987). Le psychanalyste et "Le capacité à la rverie de la mère." *Revue Française de Psychanalyse* 51: 1317—1345.
- Lewin, B. (1950). *The Psychoanalysis of Elation*. New York: The Psychoanalytic Quarterly Press.
- Lichtenberg, J. (1995). Forty-five years of psychoanalytic experience on, behind, and without the couch. *Psychoanalytic Inquiry* 15: 280—293.
- Lichtenberg, J. and Galler, F. (1987). The fundamental rule: a study of current usage. *Journal of the American Psychoanalytic Association* 35: 45—76.
- Loewald, H. (1986). Transference-countertransference. *Journal of the American Psychoanalytic Association* 34: 275—287.
- Malcolm, R. (1970) The mirror: a perverse sexual phantasy in a woman seen as a defence against a psychotic breakdown. In *Melanie Klein Today, Vol. 2: Mainly Practice*, ed. E. Spillius. Routedged: New York, 1988, pp. 115—137.
- _____. (1995). The three "W's": what, where and when: the rationale of interpretation. *International Journal of Psycho-Analysis* 76:447—456.
- McDougall, J. (1978). The primal scene and the perverse scenario. In *Plea for a Measure of Abnormality*. New York: International Universities Press, 1980, pp. 53—86.
- _____. (1986). Identifications, neoneeds and neosexualities. *International Journal of Psycho-Analysis* 67: 19—31.
- Meares, R. (1993). *The Metaphor of Play*. Northvale, NJ: Jason Aronson.
- Meltzer, D. (1973). *Sexual States of Mind*. Perthshire, Scotland: Clunie Press.
- Mitchell, S. (1993). *Hope and Dread in Psychoanalysis*. New York: Basic Books.

- Musil, R. (1924). *Five Women*, trans. E. Wilkins and E. Kaiser. Boston: Nonpareil Books, 1968.
- Ogden, T. (1986). *The Matrix of the Mind: Object Relations and the Psychoanalytic Dialogue*. Northvale, NJ: Jason Aronson/ London: Karnac.
- _____. (1988a). Misrecognitions and the fear of not knowing. *Psychoanalytic Quarterly* 57: 643—666.
- _____. (1988b). On the dialectical structure of experience: some clinical and theoretical implications. *Contemporary Psycho-analysis* 24:17—45.
- _____. (1989a). On the concept of an autistic-contiguous position. *International Journal of Psycho-Analysis* 70:127—140.
- _____. (1989b). *The Primitive Edge of Experience*. Northvale, NJ: Jason Aronson/London: Karnac.
- _____. (1991a). Analysing the matrix of transference. *International Journal of Psycho-Analysis* 72: 593—605.
- _____. (1991b). Some theoretical comments on personal isolation. *Psychoanalytic Dialogues* 1: 377—390.
- _____. (1992a). The dialectically constituted/decentred subject of psychoanalysis. I. The Freudian subject. *International Journal of Psycho-Analysis* 73: 517—526.
- _____. (1992b). The dialectically constituted/decentred subject of psychoanalysis. II. The contributions of Klein and Winnicott. *International Journal of Psycho-Analysis* 73: 613—626.
- _____. (1994a). The analytic third-working with intersubjective clinical facts. *The International Journal of Psycho-Analysis* 75:3—20.
- _____. (1994b). The concept of interpretive action. *Psychoanalytic Quarterly* 63: 219—245.
- _____. (1994c). Identificação projectiva e o terceiro subjugador. *Revista de Psicanálise de Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre* 2:153—162. (Published in English as “Projective Identification and the Subjugating Third.” In *Subjects of Analysis*. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1994, pp. 97—106.)
- _____. (1994d). *Subjects of Analysis*. Northvale, NJ: Jason Aronson/London: Karnac.
- O’Shaughnessy, E. (1989). The invisible Oedipus complex. In *The Oedipus Complex Today. Clinical Implications*, ed. j. Steiner. London: Karnac, pp. 129—150.
- Peltz, R. (1996). The anatomy of impasses and the retrieval of meaning states. Presented at “Discussions for Clinicians,” San Francisco Psychoanalytic Institute, Oct. 7.
- Phillips, A. (1996). *Terrors and Experts*. Cambridge: Harvard University Press.
- Poirier, R. (1977). *Robert Frost: The Work of Knowing*. New York: Oxford University Press.
- _____. (1992). *Poetry and Pragmatism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pontalis, J. B. (1977). Between the dream as object and the dream-text. In *Frontiers in Psychoanalysis; Between the Dream and Psychic Pain*. Madison, CT: International Universities Press, pp.23—55.
- Pritchard, W. (1984). *Frost: A Literary Life Reconsidered*. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.
- _____. (1991). Ear training. In *Playing it by Ear: Literary Essays and Reviews*. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1994, pp. 3—18.
- Rangell, L. (1987). Historical perspectives and current status of the interpretation of dreams in clinical work. In *The Interpretation of Dreams in Clinical Work*, ed. A. Rothstein. Madison, CT: International Universities Press, pp. 3—24.
- Rilke, R. M. (1904). Letters. In *Rilke on Love and Other Difficulties*, trans.J.J. L. Mood. New York: Norton, 1975, p. 27.
- Sandier, J. (1976). Dreams, unconscious fantasies and ‘identity of perception.’ *International Review of Psycho-Analysis* 3: 33—42.

- Schafer, R. (1994). *Retelling a Life: Narration and Dialogue in Psychoanalysis*. New York: Basic Books.
- Searles, H. (1975). The patient as therapist to the analyst. In *Tactics and Techniques in Psychoanalytic Therapy, Vol. 2*, ed. P. L. Giovacchini. New York: Jason Aronson, pp. 95—151.
- Segal, H. (1991). *Dream, Phantasy and Art*. London: Tavistock/ Routledge.
- Sharpe, E. (1937). *Dream Analysis*. London: Hogarth Press, 1949.
- Spillius, E. B. (1995). Kleinian perspectives on transference. Presented at the San Francisco Psychoanalytic Institute, September, 1995.
- Steiner, J. (1985). Turning a blind eye: the cover-up for Oedipus. *International Review of Psycho-Analysis* 12: 161—172.
- Stevens, W. (1947). The creations of sound. In *The Collected Poems of Wallace Stevens*. New York: Knopf, 1967.
- Stewart, H. (1977). Problems of management in the analysis of a hallucinating hysteric. *International Journal of Psycho-Analysis* 38: 67—76.
- Strachey, J. (1934). The nature of the therapeutic action of psychoanalysis. *International Journal of Psycho-Analysis* 15: 127—159.
- Symington, N. (1983). The analyst's act of freedom as agent of therapeutic change. *International Review of Psycho-Analysis* 10:283—291.
- Tustin, F. (1980). Autistic objects. *International Review of Psycho-Analysis* 7:27—40.
- _____. (1984). Autistic shapes. *International Review of Psycho-Analysis* 11:279—290.
- Whitman, R., Kramer, M., and Baldrige, B. (1969). Dreams about the patient. *Journal of the American Psychoanalytic Association* 17:702—727.
- Whitman, W. (1871). Democratic vistas. In *Whitman: Poetry and Prose*. New York: Library of America, 1982, pp. 929—994.
- Winnicott, D. W. (1947). Hate in the countertransference. In *Through Paediatrics to Psycho-Analysis*. New York: Basic Books, 1975, pp. 194—203.
- _____. (1951). Transitional objects and transitional phenomena. In *Playing and Reality*. New York: Basic Books, 1971, pp. 1—25.
- _____. (1960). The theory of the parent-infant relationship. In *The Maturational Processes and the Facilitating Environment*. New York: International Universities Press, 1965, pp. 37—55.
- _____. (1963). Communicating and not communicating leading to a study of certain opposites. In *The Maturational Processes and the Facilitating Environment*. New York: International Universities Press, 1965, pp. 179—192.
- _____. (1971a). Playing: a theoretical statement. In *Playing and Reality*. New York: Basic Books, pp. 38—52.
- _____. (1971b). *Playing and Reality*. New York: Basic Books.
- _____. (1971c). The place where we live. In *Playing and Reality*. New York: Basic Books, pp. 104—110.
- _____. (1971d). Introduction. In *Playing and Reality*. New York: Basic Books, pp. xii-xiii.
- _____. (1971e). Playing: creative activity and the search for the self. In *Playing and Reality*. New York: Basic Books, pp. 53—64.
- _____. (1974). Fear of breakdown. *International Review of Psycho-Analysis* 1:103—107.
- Zweibel, R. (1985). The countertransference dream. *International Review of Psycho-Analysis* 12: 87—99.

СОДЕРЖАНИЕ

5 Пoesия и поэтика психоанализа. *Предисловие А.Ф. Ускова*

Глава первая

9 Об искусстве психоанализа

Глава вторая

20 Анализ форм жизни и смерти

Глава третья

43 Перверсный субъект анализа

Глава четвертая

64 Приватность, мечтание и аналитическая техника

Глава пятая

80 Ассоциации к сновидениям

Глава шестая

90 Мечтание и интерпретация

Глава седьмая

114 Об использовании языка в психоанализе

Глава восьмая

132 Слушание: три стихотворения Фроста

153 Литература

Томас Огден
МЕЧТАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Ощущая человеческое

Перевод А.Ф. Ускова

Редактор И.В. Тепикина
Компьютерная верстка С.М. Пчелинцев
Главный редактор и издатель серии Л.М. Кроль
Научный консультант серии Е.Л. Михайлова

Изд.лиц. № 061747
Гигиенический сертификат
№ 77.99.6.953.П.169.1.99. от 19.01.1999 г.
Подписано в печать 5.02.2001 г.
Формат 60×88/16. Гарнитура Оффисина.
Усл. печ. л. 10. Уч.-изд. л. 9,23

М.: Независимая фирма "Класс", 2001
103062, Москва, ул. Покровка, д. 31, под. 6.
E-mail: igisp@igisp.ru
Internet: <http://www.igisp.ru>

ISBN 0-7657-0076-X (USA)
ISBN 5-86375-035-9 (РФ)

www.kroll.igisp.ru
Купи книгу "У КРОЛЯ"